

**БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ**

**ДОМЪ**  
**ВЪ**  
**ПАССИ**

---

**П А Р А Б О Л А**

**עיריית חיפה**  
**מערכת תרבות הפנאי**  
**מרכז תרבות לעולים**  
**בית ארדקסין - ספריה**  
**ספ. קלאי.....**

72798/1

БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ

# ДОМЪ ВЪ ПАССИ

РОМАНЪ

עיריית חיפה  
מערכת תרבות הפנאי  
מדכז תרבות לעיליים  
בית ארדשטיין - ספריה  
מס. מלאי.....

---

П А Р А Б О Л А / Б Е Р Л И Н Ъ

עיריית חיפה  
מערכת תרבות הפנאי  
מרכז תרבות לעולים  
בית ארדשטיין - ספריה  
מס. מלאי.....

72798/1

Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1935 by the author

עיריית חיפה / מינהל החת"ר  
אוף לתרבות השכלה ואמנות. מסח' ספריות  
הספריה הצבורית ע"ש ש. שבזנר  
מס'

72798/1

## У ПОСТЕЛИ

Черноглазый мальчикъ, аккуратный и изящный, отворилъ дверь въ комнату Капы. Онъ увидѣлъ полосу свѣта — осенняго, блѣднаго, легшаго на полъ и слегка обнявшаго постель съ голубымъ шелковымъ одвѣломъ. Подъ нимъ лежала Капа (головою къ вошедшему: онъ разсмотрѣлъ только ея затылокъ — сбившійся узелъ волосъ: да полуголую руку, да папиросу — она дымилась струйкою на краю стула).

— Здравствуйте. Вы еще спите? А уже одиннадцать.

Капа повернулась, оперлась на локоть.

Щеки у ней были красны, глаза мутноваты. Низкія надъ глазами брови, точно бы сдавливавшія (сѣрые глаза смотрѣли изъ-подъ нихъ, какъ изъ пещеръ) — приподнялись. Капа улыбнулась.

— Недоволенъ, что я долго сплю?

Рафа заложилъ руки за спину, слегка разставивъ ноги, смотрѣлъ на нее — спокойнымъ и благожелательнымъ взоромъ.

— Мнѣ все равно, спите хоть до миди. Но это странно. . . Мама давно ушла, мы съ генераломъ скоро начнемъ готовить завтракъ, а вы все лежите. На службу надо рано выходить. А то могутъ васъ конжедѣ.

— Ты очень строгій. Строже моего хозяина.

Рафа подошель ближе, внимательно всматриваясь.

— Почему-же у васъ щеки красныя?

— Я нездорова.

— Навѣрно гриппъ, я знаю, мама имѣла гриппъ, у нея тоже были такія щеки.

Онъ вздохнулъ.

— Вамъ нужно доктора. И позвонить на службу.

Рафа стоялъ теперь передъ ней, загоразивая свѣтъ, руки въ карманахъ, слегка покачивая голыми, несо-всѣмъ правильными колѣнками. Въ немъ было спокойное, не вызывающее, но глубокое сознание своей правоты. Спорить тутъ нечего! Онъ показался Капѣ самимъ здравымъ смысломъ, къ ней пожаловавшимъ.

— Да тамъ и телефона нѣтъ.

— Не можетъ быть. На службѣ всегда бываетъ телефонъ.

У Капы болѣла голова. Свѣтъ изъ окна рѣзалъ глаза. Она закрыла ихъ рукою.

— На моей службѣ, правда, нѣтъ телефона.

— Нѣтъ? Ну, я извиняюсь.

— Рафочка, будь добръ, сходи въ бистро, позвони Людмилѣ. Скажи, я больна, прошу зайти. Вотъ тебѣ франкъ на телефонъ. Элизэ, пятьдесятъ два, тринадцатъ.

Подъ затылкомъ у нея нагрѣлось. Она переложила тяжелую голову на холодное мѣсто.

— Номера не забудешь?

— Нѣтъ.

«Онъ не забудетъ. . . онъ не спутаетъ».

Рафа подошелъ къ двери, отворилъ, остановился и сказалъ:

— А все-таки напрасно у васъ на службѣ нѣтъ телефона.

Притворивъ дверь, вышелъ на площадку — добросовѣстно, какъ и все дѣлалъ, собирался исполнить капино порученіе.

Лѣстница некрутыми маршами спускалась внизъ, образуя пролетъ — довольно просторный. Просторны были и площадки. Рафа зналъ все это наизусть. Сверху, гдѣ жилъ генераль, падалъ тотъ-же разсѣянный, бѣлесый свѣтъ. Въ двери квартирки матери торчалъ ключъ (какъ и у Капы) — тоже давно знакомое. Да если-бы ключа и не было, Рафа поднялся-бы къ генералу, или къ Валентинѣ Григорьевнѣ, или еще выше, гдѣ жилъ художникъ: все это свой міръ, давно привычный. Всякій даль-бы ему ключъ, всякій ключъ отворилъ-бы дверь.

Онъ держался рукой за перила, спускался неторопясь, погружаясь понемногу въ сумракъ нижняго этажа. Порученіе Капы отчасти и развлекало его.

Улочка была тихая. Рафа перебѣжалъ ее наискось, къ угловому бистро на rue de la Pompe — улицѣ оживленной и опасной. Сюда иной разъ посылалъ его генераль за папиросами, мать за марками и открытками («только, пожалуйста, осторожниѣй, тамъ такіе автобусы!»). Тутъ его знали. И онъ зналъ: и лѣнивую, нѣсколько сонную хозяйку на стулѣ передъ кассой, и хозяина, толстаго человѣка, лысоватаго, въ вязаномъ

жилетѣ, занимавшагося двумя дѣлами: или онѣ пилъ аперитивъ съ заведатаями, или игралъ въ карты — съ ними-же.

— Не достанешь до трубки, сказала Робертъ, худенькій гарсонъ съ гнилыми зубами. — Да и рано тебѣ вызывать дамъ по телефону.

— У меня есть дѣло, отвѣтилъ Рафа. — Дайте, пожалуйста, жетонъ.

Войдя въ душную будку съ надписями на стѣнахъ, снявъ кольчатую металлическую кишку таксифона, Рафа приложилъ къ уху трубку, сказалъ номеръ, и въ далекихъ нѣдрахъ, точно съ того свѣта, перебѣжали голоса барышень, передавшихъ заказъ, таинственные значки пронеслись еще куда-то (въ другую бездну), тамъ сухо и негромко затрещала дробь — а потомъ началось. . . очень простое, къ чему всѣ привыкли, но и очень странное: мальчикъ Рафа, номерами и значками вызвалъ изъ бездонной тьмы Парижа капину подругу къ телефону.

Капа полежала на спинѣ, потомъ перевернулась къ свѣту, открыла глаза. Свѣтъ не былъ особенно радостенъ, но въ окнѣ виднѣлись каштаны — за невысокою стѣной, отдѣлявшей дворъ отъ сосѣдняго владѣнія. Сквозь полуоблетѣвшіе листья — небольшой домъ, тихій и старомодный, съ зелеными ставнями. Если-бы жить только въ своей комнатѣ, видѣть вотъ такъ каштаны да ветхую крышу, можно бы думать, что и нѣтъ никакого Парижа, порога вселенной, гдѣ обитаетъ эта Капа, мальчикъ, отправившійся говорить по телефону, и другіе люди русскихъ островковъ. А есть только провинціальная глушь. Въ этомъ домѣ съ каштанами живутъ старенькіе французы — Капа немножко зна-



еть ихъ — мсье и мадамъ Жанень. Усадебка принадлежить имъ. Раньше они были зажиточные, а теперь обѣднѣли, и пускають жильцовъ. Тамъ у нихъ тоже русская живетъ, шляпница Кóтенька — ея окно правое, угловое. Говорять, еще жилецъ переѣхалъ на дняхъ. . . да не все-ли равно, какіе Жанены, кто гдѣ комнату снимаетъ. . . все равно, все равно.

— Ничего не измѣнишь, сказала Капа вслухъ.

Въ это время вошелъ Рафаилъ. Онъ опять стоялъ на порогѣ, со своими голыми колѣнками. Прекрасные его глаза глядѣли съ прежней вѣжливостью.

— Капитолина Александровна, Людмила пріѣдетъ иммедіатманъ. У нихъ два часа дается на завтракъ, она возьметъ такси и пріѣдетъ.

Капа мутными глазами на него посмотрѣла.

— Спасибо, здравый смыслъ.

Рафа нѣсколько удивился.

— Вы что такое сказали, я не все понималъ. . .

— Если-бы была здорова, я-бъ тебя поцѣловала. . . а такъ ничего, все хорошо. Ты умникъ, все отлично сдѣлалъ.

— Я имѣю еще немного времени. Можно мнѣ у васъ посидѣть?

Капа опять закрыла глаза.

— Можно. Даже хорошо.

Нѣкоторое время она молчала. Рафа сѣлъ у небольшого столика.

— Правда, что у Жаненовъ новый жилецъ? — вдругъ спросила она. — Ты долженъ знать. Ты все знаешь.

Рафа спокойно посмотрѣлъ на нее.

— Правда. И тоже одинъ русскій.

— Ну и что-же о немъ извѣстно?

— Больше ничего не знаю. Мнѣ говорила blanchisseuse. Un russe bien élevé.

— Русскіе, русскіе, — пробормотала Капа. — Вездѣ мы, русскіе.

И, помолчавъ, неожиданно сказала:

— Все равно ничего не измѣнишь. Ни-че-го.

При послѣднихъ ея словахъ Рафа посмотрѣлъ на нее, но теперь съ видомъ человѣка опытнаго, взросло-го. «Она больная. Спросонку шутится». И взявъ листъ бумаги, началъ выводить разныя закорючки. Лицо его приняло очень серьезное, задумчивое выраженіе. Большія уши розовѣли, просвѣчивая жилками. Онъ слегка отъ усердія посапывалъ. Теръ голыя колѣнки.

Рафа ошибался, думая, что Капа «шутится», но какъ могъ мальчикъ его возраста (хоть и сосѣдъ), знать, что дѣлается въ головѣ этой Капы, невысокаго роста, слегка сутулой дѣвушки, которой лицо казалось ему не очень красивымъ, но глубоко сидящіе глаза, тяжкія, почти сросшіяся брови, глуховатый голосъ и нѣкая внутренняя напряженность вызывали чувство смутное: уваженія, расположенія — но и чего-то несовсѣмъ понятнаго. Ему нравилось, какъ она быстро и рѣшительно спускалась по лѣстницѣ, какъ говорила — негромкимъ и горячимъ голосомъ. Зналъ онъ, что запершись, громко иногда она плачетъ (но не понималъ, почему).

Разъ даже мать его, Дора Львовна, ходила къ ней съ валерьяновыми каплями (и потомъ долго пахло эфиромъ, противнымъ для Рафы запахомъ). А мать какъ бы про себя сказала:

— Что-же удивительнаго, что одинокую дѣвушку доводятъ до такого. . .

Можетъ быть, и сейчасъ Капа нѣсколько взволновалась. Можетъ быть, подъ закрытыми вѣками и выступило на рѣсницахъ нѣсколько слезинокъ — но бользнь отупляла: просто давила сумрачною дланью.

И когда вошла Людмила, въ комнатѣ было очень тихо: Рафа рисовалъ, Капа лежала на спинѣ, все тотъ же блѣдный день осенній лился изъ окна — иногда съ гудкомъ автомобиля, съ дальнимъ, раздирательнымъ трамваемъ.

— Видишь, какъ я живо. . .

Людмила быстро сѣла. Въ самомъ ея вхожденіи, въ томъ, какъ закинула ногу за ногу, скрипнувъ шелкомъ чулокъ, въ худощавомъ, тонко сдѣланномъ лицѣ, въ лодочкѣ на головѣ и манерѣ снимать перчатки съ раструбами, въ струйкѣ духовъ было именно то, что съ великимъ совершенствомъ впитываютъ русскія: не узнаешь на улицѣ, Москва или авеню Монтэнъ.

Капа встрепенулась.

— Спасибо, что зашла.

Рафа, сидя у себя за столикомъ, побалтывая ногами, смотрѣлъ на Людмилу ласково и улыбался. Она обратила на него вниманіе.

— Это ты мнѣ звонилъ?

Рафа всталъ и подошелъ. Застѣнчивая, нѣжная улыбка была на его лицѣ.

— Я.

Онъ смотрѣлъ на нее почти съ восхищеніемъ.

— Можно вамъ сказать одну вещь?

— Ну, ну. . .

— Вы очень красивая. И хорошо одѣты. Я люблю, чтобы были такіе изящные чулочки.

Людмила улыбнулась холодноватыми своими, сини-

ми глазами — но не очень: чтобы морщинки не набѣгали.

— Капитолина, смотри ты, какого кавалера себѣ завела. . .

— Это мой сосѣдъ.

— Ну, конечно, здѣсь, въ русскомъ домѣ все у васъ особенное. . . Записки на дверяхъ приколоты, ключи торчатъ. . . и поклонники десятилѣтніе.

Въ потолокъ сверху постучали.

— Генераль меня зоветъ, — сказала Рафа. — Я общалъ ему помочь чистить яблоки для варенья.

Людмила взяла его за ухо.

— Что-жъ подѣлать, господинъ Донъ Жуанъ. Общаль, такъ иди.

Рафа попрощался съ ней, потомъ подошелъ къ Капѣ, поцѣловалъ въ лобъ и шепнулъ:

— А что это Донъ Жуанъ?

— Который красивыхъ любитъ, — такъ-же тихо отвѣтила Капа.

Когда онъ ушелъ, Людмила встала и прошлась.

— Рѣже приходится видѣться, я какъ будто отъ тебя и отстала.

— Спасибо, что пріѣхала.

— Ну, это что-жъ, пустяки. . . Да, я давно тутъ не была. . . бѣдно, все-таки ты живешь. Комнатка маленькая, и обстановка. . .

— Это ничего.

— Знаю. Все-таки, съ деньгами лучше.

Капа закурила.

— Ты немножко снобкой стала у себя тамъ въ курюрѣ, — Капа улыбнулась.

— Нѣтъ, не снобка, но хорошую жизнь люблю, это вѣрно.

— Зарабатываешь попрежнему?

— Да. Теперь я *première vendeuse*. На процентахъ. Тоже надо умѣючи. Убѣдить кліентку, доказать ей, чтобы купила. . .

— Людмила, пойди сюда. . . — Капа взяла ее за руку. — Я рада, что ты пришла. Бодрая такая. . .

— Ужъ тамъ бодрая или не бодрая, веселая или не веселая, а кручусь. Иначе нельзя. Не люблю задумываться, останавливаться. Начнешь думать, ничего хорошаго не надумаешь. Лучше просто дѣлать. Жить такъ жить. И возможно лучше.

— А я тебѣ еще въ Константинополь надоѣдала. . .

— Чтó тамъ надоѣдала. Какая есть, такой и всегда будешь. Помнишь, ты больная тоже лежала, а я въ ресторанѣ мѣсто потеряла, и мы голодали. Ты еще мнѣ предложила: свяжемся вмѣстѣ — и въ Босфоръ.

— Мнѣ тогда умереть хотѣлось. . . и я думала, что намъ выхода, правда, нѣтъ. . .

— Ахъ, чего этими кошмарами заниматься. Хорошо, что мы съ тобой еще дѣвками не сдѣлались. . . Рада бы была, если-бы старій мерзавецъ турокъ, который меня за двѣ лиры купить собирался, глотнулъ бы этого Босфора! — Людмила встала, прошлась, подошла къ окну.

— Садикъ, каштаны, довольно мило.

Она стала внимательнѣй всматриваться.

— Постой, этотъ павильонъ фасадомъ въ переулокъ выходитъ?

Капа подтвердила.

— Ну, разумѣется, такъ и есть: я на-дняхъ здѣсь

была, только ходъ съ переулка, въ этомъ самомъ доми-  
кѣ. Тамъ старички французы живутъ?

— Да. И еще шляпница русская. Ты что-же...  
шляпу заказывала?

— Нѣтъ, милая моя, я была у новаго жильца, на-  
шего прежняго съ тобой пріятеля, Анатолія Иваны-  
ча. Ты развѣ не знаешь, что онъ тутъ поселился?

Капа слегка поблѣднѣла.

— Нѣтъ, не знаю.

— Да, ну ужъ всѣ эти ваши сложности и туманно-  
сти... Не въ моемъ характерѣ.

— Никакихъ сложностей. Я съ Анатоліемъ Иваны-  
чемъ давно не встрѣчаюсь... и ничего нѣтъ удиви-  
тельнаго... ничего удивительнаго, что не знаю.

Людмила замѣтила знакомыя, глухія нотки въ го-  
лосѣ Капы — признакъ, что та начинаетъ сердиться.

— Здѣсь кругомъ сколько угодно русскихъ. Войди  
въ метро, въ синема... русскій кварталъ... ничего  
нѣтъ удивительнаго, что Анатолій Иванычъ нанялъ  
комнату въ домѣ рядомъ съ моимъ.

— Конечно, ничего.

Капа сумрачно помолчала.

— Ты зачѣмъ у него была?

— Написалъ. Просилъ зайти. Я нисколько и не со-  
мнѣвалась. Деньги. Онъ въ большой нуждѣ — есте-  
ственно. Но такой-же прожектеръ и фантазеръ... Ахъ,  
раздражаютъ меня эти авантюристы...

— Онъ не авантюристъ. Ну, а фантазеръ...

— Ты за него горой, по обыкновенію.

— Я хочу быть только справедливой, — сухо отвѣ-  
тила Капа. — Онъ мнѣ ни свать, ни братъ. Я не имѣю  
къ нему никакого отношенія.

— И слава Богу. Пора. Сейчас-то ему, разумеется, туго. Одним кофе питается. Хозяевам задолжаеть такъ же, какъ и въ предыдущемъ отелѣ. Но теперь, оказывается, у него вексель: три тысячи! Онъ у меня и собирался ихъ достать.

— Ты не дала.

— Во-первыхъ, у меня нѣтъ. Второе: если-бы и были, ни за что бы не дала. Пятьдесятъ франковъ — *et c'est tout*. Всѣ эти расчеты, что продать картину греку, двадцать тысячъ получить — чушь! И имѣй въ виду, если ты для него попросишь — тоже не дамъ.

— Удивляюсь еще, какъ ты ко мнѣ сегодня прѣхала. Навѣрно тоже думала, что деньги нужны.

Людмила подошла. Волна легкаго шипра потянулась за нею.

— Ты другое дѣло. Ты свой братъ, мастеровой. Тебѣ бы дала. А ему нѣтъ.

Капа закрыла глаза, замолчала. Разговоръ какъ-то пресѣкъся. Людмила нѣсколько разъ пробовала его завязать — безуспѣшно. Посидѣвъ еще нѣкоторое время, она поднялась.

— Ну, выздоравливай. Мнѣ пора. Если что понадобится, пусть этотъ мальчуганъ звонить.

Капа осталась одна — въ задумчивости и молчаніи.

## ДРУЗЬЯ

Михаиль Михайловичъ Вишневскій, генераль-лейтенантъ и бывшій командиръ корпуса, нынѣ обитающій надъ Капой, проходилъ однажды въ потертомъ лѣтнемъ пальто по переулку — шагомъ правильнымъ, крѣпко неся негнущееся тѣло — съ лицомъ чисто выбритымъ, сѣдыми подстриженными усами: они сдѣлали-бы честь любому маршалу. (Но глаза Михаила Михайловича были слишкомъ русскіе — оттого, можетъ быть, и разнствовала его судьба съ маршальской: онъ собиралъ объявленія для газетки).

На углу своей улицы неожиданно наткнулся онъ на трехъ мальчишекъ — двое съ азартомъ наскакивали на третьяго черноглазаго, отступавшаго къ забору. Онъ пытался отбиваться, но дѣло его было плохо: вихрастый врагъ съ рыжими веснушками уже далъ по уху, глаза его готовы были налиться слезами и предстояло бѣгство — съ потерей обозовъ и коммуникацій.

Тутъ-то, однако, и появилась изъ-за угла крупная фигура генерала, спокойная, и какъ судьба неотврати-



мая. Она разрѣзала пространство. Слѣва, у забора, оказался Рафа, справа веснушчатый врагъ и другой, худенькій, черный, въ школьническомъ беретѣ.

— Колоннами и массаами, — сказалъ генераль. — Прекратить б... (тутъ онъ прибавилъ сильное военное слово).

Французы слова не поняли, но отскочили. Рафа тоже не понялъ, но почувствовалъ, что подошла подмога. И ослабѣвъ, заплакалъ.

— Мсье... мсье... они всегда ко мнѣ пристають... паршивые.

Генераль всмотрѣлся въ него.

— Ты гдѣ живешь?

Рафа, сквозь слезы, назвалъ.

— Ну, нечего нюнить, идемъ.

И взявъ его за руку зашагалъ.

— Они... всегда дразнятся... бормоталъ Рафа, припадая къ старческой рукѣ и чувствуя себя подъ защитой (отъ генералова пальто пахло табакомъ — этотъ мужественный запахъ былъ Рафѣ пріятенъ). Обернувшись, онъ погрозилъ врагамъ.

— Sales gosses! Crétins!

— То-то вотъ и кретэнь. Они, братъ, можетъ и не такіе кретины. А самому тоже надо умѣть драться. Ты меня знаешь?

— Я... я... (Рафа опять сталъ всхлипывать) — вы на той-же лѣстницѣ, гдѣ мы съ мамой. Мою маму... зовутъ Дора Львовна. А вы... недавно переѣхали.

— Правильно.

Генераль тоже легко вспомнилъ черноглазаго мальчика и его мать — крѣпкую, довольно полную брюнет-

ку. Съ утра уходила она изъ дому — занималась массажемъ.

Онъ довель малаго до дому, поднялся съ нимъ до его квартиры. Дора Львовна случайно оказалась дома. На стукъ она и отворила (звонковъ нигдѣ не полагалось: чтобы консьержка по стуку знала, кто къ кому пришелъ).

У Рафы остались еще на щекахъ сохнушіе разводы слезъ, и увидѣвъ мать, онъ снова расплакался. Дора Львовна встревожилась.

— Мсье заступи-ился. . . а они, паршивые. . . — началъ было опять Рафа.

Михаилъ Михайловичъ объяснилъ, какъ было дѣло.

— Очень вамъ благодарна, — сказала Дора Львовна серьезно. — Рафа, ты сейчасъ-же пойдешь мыться. Тамъ зеленое мыло, слѣва на верхней полочкѣ.

И за крѣпкими, бѣлыми руками матери, отъ которой всегда пахло свѣжестью и чѣмъ-то медицинскимъ, Рафа почувствовалъ себя окончательно въ домашней твердынѣ.

Когда онъ вышелъ, Дора Львовна вновь обратилась къ генералу.

— Это въ значительной мѣрѣ моя вина. До сихъ поръ не могу устроить его въ лицей. Онъ и болтается зря. Если-бъ нашелся человѣкъ, которому я довѣрила-бы его подготовку. . .

Генеральъ ничего не отвѣтилъ, неопредѣленно фукнулъ.

Но съ этого дня знакомство его съ Рафой завязалось. Михаилъ Михайловичъ рѣдко, больше по сосѣдскимъ дѣламъ, заходилъ къ Дорѣ Львовнѣ. А Рафѣ чрезвычайно нравилось стучать въ таинственную (какъ

ему казалось) дверь генераловой квартирки — и тихонечко входить въ нее. Комната была обычная, съ хозяйской мебелью, кухонкой, съ окномъ въ тотъ-же садъ, небольшою печуркой. Генераль держалъ все здѣсь въ порядкѣ: съ семи утра слышала Капа надъ головой шумъ передвигаемой мебели, генераль все подметалъ до соринки, натиралъ паркетъ, методически обтиралъ пыль — методически чистилъ и обувь, платье, чинилъ его, ни въ чемъ не отступая отъ тѣхъ правилъ, что вошли въ него съ утреннею трубой кадетскаго корпуса.

Но не столъ, не паркетъ, не узенькая кровать занимали Рафу. Весь этотъ высокій, прямой старикъ, какъ будто бы и строгій (а главное — совершенно непререкаемый), былъ нѣкимъ инымъ міромъ, вовсе невѣдомымъ и загадочнымъ. Рафа зналъ, что такое бистро, сольды, термъ, ажаны, — но когда генераль впервые показалъ ему свои ордена (вытащивъ ихъ изъ дальняго ящика комода), онъ онѣмѣлъ. Красныя ленты, золотые узоры, изображенія святыхъ, бѣленькій и какъ будто простой крестъ на черно-желтой ленточкѣ (его особенно торжественно показалъ генераль), гдѣ найдешь это въ Пасси? У какого бистровщика нашего квартала?

Замѣчательными казались также двѣ гравюры въ рамкахъ, на которыхъ были изображены военные, одинъ въ бѣломъ кителѣ, съ черной бородой, другой въ темномъ мундирѣ и эполетахъ (у этого сильно пробригъ подбородокъ).

А на столѣ? Рядомъ съ чернильницей? Подъ стекломъ фотографія монаха въ бѣломъ клобукѣ, съ огромнымъ посохомъ въ рукахъ. Лицо простое, русское, съ сѣрыми небольшими глазами подъ бровями навис-

шими, съ тяжелымъ носомъ, съдой бородой. На груди не то иконки, не то ордена — Рафа боялся даже спрашивать. На вопросъ, кто это, получилъ отвѣтъ: патріархъ — непонятное слово, музыкою отозвавшееся въ сердцѣ. Вечеромъ ложась въ постель и побалтывая голыми ногами, неожиданно, съ мечтательной улыбкой онъ сказалъ матери:

— Патріархъ!

— Зубы вычистилъ? — спросила Дора Львовна.

— Вычистилъ. Я сегодня видѣлъ патріарха.

— Какого патріарха?

— У Михаила Михайловича. Мнѣ онъ все объяснилъ. У архіереевъ черные клобуки, у митрополитовъ бѣлые, а у патріарха тоже бѣлый, но такъ, знаешь, вродѣ платочка или шапочки, и съ обѣихъ сторонъ концы висятъ, какъ полотенца. . . на полотенцѣ крестъ вышить.

Дора Львовна усмѣхнулась.

— Теперь слушаешься отъ своего генерала.

— Онъ даже очень интересно рассказываетъ.

— Руки сверхъ одѣяла, вотъ такъ, и на правый бочекъ. Потому что съ лѣвой стороны у насъ сердце, и не надо на него надавливать.

— А то что будетъ?

— Будешь видѣть плохіе сны.

Рафа зѣвнулъ, черезъ минуту сказалъ:

— Я хочу видѣть хорошіе. Я хочу видѣть во снѣ патріарха.

\* \*

\*

Когда онъ теперь подымался по лѣстницѣ отъ Капы, изъ двери генерала вышелъ почтальонъ — и не хлопнулъ ее. Рафа, какъ свой, проскользнулъ безъ стука. Генераль, сухощавый и стройный, въ передникѣ, сквозь пенснэ на горбатомъ носу читаль письмо, держа его довольно далеко. По его разставленнымъ ногамъ, отдувающимся ноздрямъ, легкому подрагиванію рукъ видно было, что онъ взволнованъ. На Рафу не обратилъ вниманія. Тотъ скромно, «съ достоинствомъ», какъ человекъ, понимающій, что другъ можетъ быть занятъ, прошелъ въ кухню. Тамъ стоялъ на огнѣ супъ, а на газетномъ листѣ лежали яблоки. Ихъ то и предстояло чистить и разрѣзать: генераль любилъ яблочное варенье (а значить, любилъ и Рафа).

Солнце нѣжно, и не по парижски охватывало мальчика, сидѣвшаго на табуреткѣ, тихо рѣзавшаго яблоки. Было въ этомъ свѣтлое и мирное, хорошо, что сіяніе задерживалось въ маленькой кухнѣ дома въ Пасси — и быть можетъ Рафа подъ ковромъ воздушнымъ и свѣтящимся лучше дѣлалъ свое дѣло.

— Молодецъ, — сказалъ генераль, входя. — Занимайся. Люблю аккуратность.

Рафа улыбнулся застѣнчиво, слегка покраснѣлъ. Онъ всегда робѣлъ предъ генераломъ, съ нимъ самоувѣренъ не былъ никогда.

— Сегодня хорошее извѣстіе. Хорошее извѣстіе. Изъ Россіи.

— Отъ большевиковъ?

Генераль весело захохоталъ.

— Нѣ-ѣ-тъ, они со мной переписываться не стануть. Да и я съ ними. Я насчетъ Машеньки получилъ пись-

мо. Она сюда собирается. Понимаешь, разбойникъ? А?

Генераль подошелъ къ нему сзади, крѣпкими руками взялъ за щеки и сталъ дѣлать изъ его лица kota — любимая генеральская игра (когда онъ въ духѣ).

— Ну, ну... — смѣялся Рафа. — Нѣтъ, мнѣ уже больно.

— «Мнѣ уже больно!» — когда ты будешь по русски правильно говорить?

— Почему я сказалъ невѣрно?

— «Уже» — вонъ. Уже вонъ. Просто больно.

— Мнѣ таки и дѣйствительно больно.

Рафа потеръ рукой щеку и вновь принялся чистить яблоки. Генераль разсердился-было на «таки», но предстояло поглядѣть за закипавшимъ супомъ, да и вообще не до чистоты языка. Машенька собирается сюда! Такъ написано въ этомъ письмѣ съ красноармейцемъ на маркѣ. Написано хоть не самою Машенькой (боится переписываться съ отцомъ), но дамой вѣрной, престарѣлою, Машеньку знавшей ребенкомъ. Написано условнымъ (смѣшнымъ для Запада) языкомъ — что подѣлаешь, маскировка, вѣчный страхъ, подъ которымъ живутъ уже годы! Главное: рѣшилась, наконецъ, начать хлопоты. Разумѣется, нужны деньги. Очень понятно. У нея ребенокъ, вродѣ этого, что рѣжетъ яблоки. Воображаю, какъ она тамъ будетъ собирать червонцы!

Генераль сѣлъ съ Рафой, взялъ яблоко, сталъ его чистить. «Питаемся больше картошкой, мяса почти не видимъ. А ужъ особенно трудно съ обувью... Ваня иной разъ въ первую ступень и пойти не можетъ, сапожникъ въ долгъ отказывается чинить, денегъ, разу-

мѣется, нѣтъ, а къ новымъ башмачкамъ не подступиться. . .»

— Рафаилъ! — сказала генераль громко, почти грозно: — мы съ тобой въ послѣдній разъ яблоки чистимъ!

Рафа опасливо посмотрѣлъ на него. Характеръ генерала, его странности, онъ зналъ, и теперь полагалъ, что будетъ что-нибудь не совсѣмъ обычное.

— Вамъ не нравится это конфитюръ?

— Нѣтъ-съ, мнѣ яблочное варенье (а не конфитюръ!) очень нравится, но я желалъ-бы, чтобъ и Машенька могла его ѣсть. А для этого-съ. . .

Супъ кипѣлъ, но перекипать ему не дали. Яблоки кончили, накрыли тутъ-же для двоихъ къ завтраку. Генераль налилъ стаканъ краснаго вина.

— Колоннами и массаи. Трахъ-тара-рахъ-тахъ-тахъ!

Рафа чинно и съ тайнымъ благоговѣніемъ смотрѣлъ на него. Генераловы штуки, выкрики, манера громогласно сморкаться, пощелкивать пальцами сложенныхъ за спиной рукъ — все казалось необыкновеннымъ. Самый завтракъ въ этой кухонкѣ тоже нѣчто особое. Развѣ можно сравнить съ завтракомъ дома? (Гдѣ все такъ разумно и гигіенично).

Напримѣръ, сегодня. Генераль столько рассказывалъ о Машенькѣ, о ея сынѣ, какъ жили они вмѣстѣ въ имѣніи, какъ пришлось ему потомъ бѣжать — на югъ, въ Добровольческую армію — и вотъ сколько уже лѣтъ они въ разлукѣ.

— Но теперь начинается новое, ты понимаешь? Машенька рѣшилась. . . надо только ходъ найти, чтобы ее выпустили. И деньги! Самое важное. Только это.

братецъ ты мой, тайна. Понялъ? Обѣщаешь никому не рассказывать?

— Обѣщаю.

И сейчасъ-же Рафа спросилъ:

— А почему тайна?

— Потому, что если до большевиковъ дойдетъ. . . ты понимаешь? что Машенька сюда ѣдетъ, къ отцу, вотъ такому, какъ я — то не только ее не выпустятъ, а еще въ Соловки сошлютъ.

Рафа облизнулъ ложку, которой ѣлъ компотъ и спросилъ, что такое Соловки. Генераль объяснилъ. Рафа даже поблѣднѣлъ отъ волненія. Значить, ему довѣрено такое. . . Онъ почувствовалъ себя взрослымъ.

— Я даже мамѣ не скажу. Знаете, у нея столько визитовъ къ разнымъ дамамъ. . .

Генераль допилъ алжирское свое вино, всполоснулъ литръ подъ краномъ, тщательно его обтеръ, высушилъ, потомъ досталъ изъ жилетнаго кармана монетку и бросилъ въ горлышко. Она со звономъ упала на дно.

— Что это вы. . . дѣлаете?

— А это, братецъ ты мой, такая будетъ у насъ тайная бутылка. «Фондъ благоденствія». Я туда бросилъ первый полтинникъ. Отъ варенья отказываюсь, курю вдвое меньше, и такъ далѣе — все, что освобождается, идетъ сюда. Полный литръ — чуть не тысяча франковъ для приѣзда Машеньки. Понятно? Ну, а теперь отъѣли, пора за урокъ. Что мы читали прошлый разъ? Жилина и Костылина? Ну, и живо, идемъ ко мнѣ въ комнату.

И какъ всегда бывало въ этотъ день, начался урокъ русскаго языка. Рафа читалъ толстовскій рассказъ, генераль слѣдилъ, объяснялъ, поправлялъ ударенія и



произношеніе. Но сегодня оба были не весьма внимательны. Генераль думаль о дочери — никакъ не могъ сосредоточиться на Кавказѣ и горахъ. Рафа все шарилъ по карманамъ курточки и штанишекъ — генераль, наконецъ, недовольно спросилъ, чего онъ ёрзаетъ?

— Это я ничего, такъ. . .

А когда урокъ кончился, быстро выбѣжалъ къ себѣ въ квартиру, порылся и принесъ новенькую, совсѣмъ сіяющую монетку въ пятьдесятъ сантимовъ. Бутылка стояла въ углу.

— Можно? — спросилъ робко.

Генераль кивнулъ. Потомъ отвернулся. Рафинъ полтинничекъ звякнулъ также.

## ДВИЖЕНИЕ

Дора Львовна происходила изъ богатой еврейской семьи. Училась въ Петербургѣ, на Медицинскихъ курсахъ, но не кончила: полюбила студента технолога и сошлась съ нимъ. Лузинъ былъ настоящій русскій интеллигентъ, довоеннаго времени, типа «какой просторъ». Жаждалъ быстрого установленія земного рая, вѣрилъ въ это и вмѣстѣ съ Дорой Львовной усиленно приходу его содѣйствовалъ. Отъ марксистовъ, однако, отдаляло его мягкое сердце. Отъ эсеровъ — несклонность къ террору. Партію онъ избралъ себѣ безобидную — народныхъ социалистовъ. Но тутъ подвернулась нѣкая максималистка, товарищъ Люба — и отъ Петра Александровича Лузина остались рожки да ножки. Онъ мучился и рыдалъ, то говорилъ, что одинаково любить обѣихъ, то пытался «выяснить отношенія», то казнилъ себя безнадежно. Дорѣ Львовнѣ чужда была расплывчатость. Послѣ полагающагося количества безсонныхъ ночей, выяснивъ все, что надо, она на седьмомъ мѣсяцѣ беременности отъ него ушла — угломъ треугълника быть не пожелала. Старая Берта

Исаевна, мать ея, много по этому поводу плакала. «Ай, Дорочка, Дорочка, вышла бы за хорошаго еврея, ничего бы эгого не случилось. Подумать только, беременная...» А отецъ вовсе негодюваль. Но Дора Львовна домой не вернулась. Родила своевременно Рафу, и въ дальнѣйшемъ потопъ была вынесена на западъ. Не такая она, чтобы потеряться и здѣсь! Сначала въ Германіи, а потомъ въ Парижѣ занялась дѣломъ — хоть не на высотѣ прежняго, лишь полу-медицинскимъ, все-таки дававшимъ заработокъ. Дора Львовна кліентуру свою развивала. Ея спокойствіе, нѣкій крѣпкій и достойный тонъ, ощущение порядочности и солидности, остававшееся отъ нея, создавали ей хорошую прессу (да и работала она неплохо). Именно въ этомъ году начала даже откладывать, стала мечтать о томъ, чтобы взять квартиру со своей мебелью, въ новомъ домѣ съ удобствами. О мужѣ ничего не знала, и знать не хотѣла. Она его просто вычеркнула. Жила одиноко, холодновато. Рафу очень любила, но безъ сантимента. Да и не такъ много его видѣла — цѣлый день была въ бѣгахъ. Любила разсматривать старинную мебель въ витринахъ, (кое что, въ Salle Drouot, и покупала, тащила въ Пасси). Иногда ловила себя на томъ, что хочется вкусно поѣсть. «Ну что-же, это моя потребность, надо ее удовлетворить», — заходила завтракать въ небольшіе ресторанчики у Мадленъ. Какъ врачъ, прохладно наблюдала за собой. И находила, что въ ѣдѣ нѣсколько выражается ея чувственность. «Конечно, моя женская жизнь слагается ненормально... Нѣтъ еще сорока лѣтъ...» Но ей дѣйствительно никто по настоящему не нравился. Легкія же авантюры она неодобряла.

Нынче вечеромъ, возвратившисьъ домой, Дора Львовна узнала, что больна Капа. По неписаному уставу дома, всѣ русскіе должны были другъ другу помогать въ бѣдѣ, и если-бы захворала сама Дора Львовна, у нея тотчасъ бы появилась и Капа, и генераль, и жилецъ сверху. Такъ что въ десятомъ часу она сидѣла у Капы.

— Вашъ сынъ уже навѣщалъ меня, — сказала Капа, слегка улыбнувшись. — Я даже немного его эксплуатировала. . . онъ былъ страшно милъ.

Дора Львовна сидѣла совсѣмъ близко и смотрѣла въ воспаленные, нѣсколько тяжелые и затаенные глаза Капы. «Странная дѣвушка. . . очень странная. . .» и не совсѣмъ даже давала себѣ отчетъ, почему странная. Но такое оставалось ощущение.

— Я сына мало вижу. Такъ жизнь складывается. — Что изъ него выйдетъ, не знаю. . . мнѣ всегда кажется, что я недостаточно на него вліяю.

Капа перевела глаза съ темными, влажными кругами въ сторону — будто не слушала и вовсе не интересовалась тѣмъ, что можетъ изъ Рафы выйти. Дора Львовна почувствовала это и смолкла.

— Докторъ у васъ былъ?

— Да. . . Дора Львовна, знаете какое дѣло, — вдругъ сказала она рѣшительно, точно вернувшись изъ того міра, гдѣ только что находилась: — мнѣ нужны деньги.

— Разумѣется, вы нездоровы. . . Сколько-же? Я могла бы вамъ предложить.

— Нѣтъ, предложить. . . не вы. Мнѣ довольно много. Посовѣтуйте, гдѣ занять. . . У васъ есть богатые

дома, гдѣ вы массируете. Я могу вексель подписать. За меня на службѣ поручатся.

— А какая сумма?

— Три тысячи.

— Да, порядочно. Лично я не смогу.

— Я и не говорю, чтобы вы, — сказала Капа холодно. — Скажите мнѣ, къ кому обратиться?

— На что вамъ такія деньги?

— Нужны.

— Именно три тысячи?

— Именно.

Дора Львовна задумалась. Конечно, среди клиентокъ ея много состоятельныхъ, есть и очень богатые, для кого три тысячи не деньги. Но не деньги лишь для себя. Дать-же взаймы такой Капѣ... Дора Львовна слишкомъ хорошо знала жизнь, слишкомъ ясно сознавала и свое положеніе (среднее пропорціональное между учительницей музыки и шофферомъ), чтобы вѣрить въ успѣхъ. Но добросовѣстно перебирала въ умѣ фамиліи и имена. Гарфинкель? — не вернулись еще изъ Сень-Жанъ де Люсь. Олимпиада Николевна? Жалуется на плохія дѣла... и вѣчная возня съ польскимъ имѣніемъ... Эйзенштейнъ? — выдаютъ дочь замужъ, сошлются на расходы... Трудно, трудно.

— Что-же, вы хотите на югъ, что-ли, съѣздить, полѣчиться на эти деньги? — спросила она — просто чтобы дать выходъ нѣкому недовольству. — Или собираетесь зимнюю вещь шить?

— Эти деньги мнѣ необходимы.

Лицо Капы приняло упорное, нѣсколько даже непріятное выраженіе. «Да, характерецъ... не скажетъ, разумѣется, ни за что».

Дора Львовна не любила никакихъ душевныхъ угловатостей. Ее нѣсколько раздражали даже такія, какъ она считала, «дефективныя» черты. Но въ ней сидѣлъ и врачъ, спокойный наблюдатель человѣческихъ несовершенствъ. Врачъ зналъ, что на «дефективныхъ» нельзя сердиться. Она пересилила себя — и въ ту-же минуту нѣчто сверкнуло въ ея мозгу.

— Знаете, вернулась изъ Америки Стаэле. . .

— Неужели?

Капа оживилась.

— Вызвала меня пневматичкой. Я у ней уже была, работала. Но она нисколько не худѣетъ. Все такая-же полная. Да вѣдь вы ее хорошо знаете. . . Однимъ словомъ, все такая-же, несмотря на режимъ. И такая-же восторженная. Обратитесь къ ней, попробуйте. . . скажите, что вамъ на лѣченіе нужно.

— Стаэле. . . Я ее такъ давно не видала. Что-же она дѣлаетъ теперь?

Дора Львовна усмѣхнулась.

— Чего вы хотите отъ милліонерши. Что вздумается, то и дѣлаетъ. Хорошо еще, что у ней сердце доброе. По крайней мѣрѣ, не всѣ деньги зря тратитъ. Въ Америкѣ пріючь для негритянскихъ дѣтей устраивала, теперь у нея, кажется, совсѣмъ нелѣпыя идеи, но ничего, можетъ быть, и удастся направить ее въ разумное русло.

««Разумное русло», бессмысленно повторила про себя Капа. «Разумная Дора. . . она всегда все дѣлаетъ разумно». И молча смотрѣла на крѣпкія, бѣлыя руки Доры Львовны. «А я все неразумное. . . но безразлично, къ Стаэле я пойду».

Дора Львовна сидѣла прочно, удобно въ креслѣ

(она имѣла особенность: такъ сидѣть, такъ стоять, такъ спать въ постели, будто сдѣлано это разъ навсегда — солидно и никакъ не опрометчиво). Она рассказывала, что теперь г-жа Стаэле увлекается древне-византійской живописью и носитя съ особенною мыслью: купить у турецкаго правительства право на расчистку одной мечети, гдѣ подозрѣваются раннія фрески.

— Въ сущности, вы, какъ хорошо ее знающая, могли-бы извлечь изъ нея и нѣкоторую пользу для эмиграціи. Всюду столько нужды. Дѣтскіе приюты, убѣжища для престарѣлыхъ, вмѣсто этихъ нелѣпостей съ турецкими мечетями. . . «Началось разумное. . . и доброе, и полезное», думала Капа, все бессмысленно глядя на Дору Львовну. «Ничего, она честная массажистка и членъ разныхъ обществъ. Такъ и надо. Она и поможетъ. Устроить. На такихъ міръ держится. . . А я свое сдѣлаю. Я не такая добрая, на бѣженскія дѣла мнѣ наплевать, но я сдѣлаю. Свое сдѣлаю. Хочу, и сдѣлаю».

— Спасибо, — сказала она. — Мнѣ только нужно теперь выздоровѣть. Я непременно схожу къ Стаэле.

\* \*

\*

То, что предлагала Дора Львовна, могла бы сообразить Капа и сама. Но Стаэле вела настолько кочевую жизнь (нынче въ Америкѣ, завтра въ Сиріи, а тамъ въ Копенгагенѣ), что Капа не считала ее здѣшной. И когда мысленно прикидывала, къ кому обратиться, о ней не подумала. Впрочемъ, были причины

и особыя. . . О той полосѣ жизни своей она не любила вспоминать. Но теперь Дора Львовна какъ бы разбудила ее. Въ приоткрытую дверь бывшее поползло. Капа разволновалась. Если-бы Дора Львовна, мирно спавшая сейчасъ въ своей прохладной и гигиенической постели, знала, что у Капы даже температура повысилась, врядь-ли осталась бы она довольна. А Капа вертѣлась, вспоминала, разъ поднялась даже, подошла къ окну и посмотрѣла въ садъ. Было темно. Каштаны иногда шелестѣли подѣ ниспадавшимъ вѣтромъ, да на Эйфелевой башнѣ, виднѣвшейся въ узкой полоскѣ межъ крышъ, пробѣгали таинственные нервные сигналы: голубовато-зеленое струеніе, а надъ нимъ вдругъ грозно мигаль красный глазъ. Спятъ всѣ, кромѣ ночи да дьявола. Легкое зарево Парижа надъ полуоблетѣвшими деревьями — трепещеть, тоже имѣетъ двусмысленное выраженье. Да и вся тьма эта полна неблагожелательнаго, мрачнаго. Ахъ, если-бъ можно было прижаться къ кому нибудь, если-бъ не вѣчное это, проклятое одиночество!

Она вдругъ разсердилась и на Анатолія Ивановича. Зачѣмъ, собственно, онъ поселился тутъ подѣ самымъ ея носомъ? Ну ладно, было и было, да ничего больше нѣтъ, она и видѣть его не хочетъ — а вотъ нужно почему-то здѣсь постоянно о себѣ напоминать. . .

Капа вернулась на постель озябшая, ее знобило и она была почти зла. Мысленно послала даже къ чорту и Анатолія Ивановича и Стаэле.

Не такъ легко было заснуть, не такъ легко и спалось. Но утромъ сразу оказалось, что ничего ей болѣе не интересно, кромѣ этого. Жизнь, служба, болѣзнь — полусонъ, полупрозябаніе. Одно настоящее. Одно нуж-



ное — и теперь изъ-за случайныхъ словъ Людмилы, Доры Львовны, жизнь вновь направляется въ неожиданную сторону.

Поскорѣ выздоровѣть, и бѣжать... *Туда*, пока Стаэле не уѣхала.

И нѣсколько дней-ночей мигнуло незамѣтно: въ дняхъ — зашелъ докторъ, навѣстилъ генераль, Рафа, Дора Львовна. Въ ночахъ — тяжелый сонъ и зарево Парижа.

\* \*  
\*

Очень тихое утро, сѣрб, влажно. Оставшіеся на каштанахъ листья совсѣмъ буры — такъ намокли, что по временамъ падаютъ съ нихъ капли. Блестятъ асфальтовые мостовыя. Шофферы медленнѣй шуршатъ по нимъ: изъ опасенья поскользнуться. Но самъ изящносѣрый Парижъ ведетъ вѣчный свой круговоротъ — въ непрерывномъ потокѣ прохожихъ, скользящей волнѣ машинъ, въ запахѣ сырости, бензинового дымка, дамскихъ духовъ.

Мимо Прюнье проходитъ Капа, еще не совсѣмъ оправившаяся, съ глубокими подглазинами, къ Этуали. Вокругъ Арки безсмѣнно-движущееся кольцо. Все въ одномъ направленіи, вѣчно куда-то ввинчиваясь, бѣгутъ автомобили, сколько ихъ, куда — но не остановишь, безъ конца, безъ начала...

Капъ все здѣсь насквозь знакомо. Вотъ трехэтажный дворецъ съ садикомъ, вотъ *gite Tilsitt* — Стаэле тутъ недалеко, въ улицѣ близъ этой карусели-Этуали.

Тяжелая калитка, гравій, мокрые кусты, окна зеркальные. . . И глицинии подь окномъ и — ея собственное окошко, въ третьемъ этажѣ, рядомъ съ комнатою прислуги. Къ этой самой калиткѣ подавалъ года два назадъ Анатолій Ивановичъ, въ бѣломъ кожаномъ пальто и черной фуражкѣ тяжело-легкій автомобиль: темный, блестящій, съ зеркальными стеклами, куколкою внутри и букетомъ фіалокъ. Вмѣстѣ со Стаэле выходила она — Капа тогда была лучше одѣта, но скромно. . . какъ *mademoiselle de compagnie* и учительница русскаго языка. Фантастика, фантастика!

Но теперь безъ фантастики позвонила — отворила сухая, застарѣлая горничная съ каменнымъ лицомъ. Капа передала карточку.

— Мадемуазель пьетъ кофе. Вамъ придется подождать.

«Знаю, что пьетъ. Десять часовъ — все то-же». Капа проходитъ въ сѣрую гостиную, садится подь голубой вазой съ золотыми разводами. Обстановка — свѣтлый модернъ. Со стѣны глядитъ все тотъ-же Вламанкъ (мрачный осенній пейзажъ съ лужами), такъ же все въ чистотѣ слѣпительно, безмолвно, музейно. Зеркальное окно полно серебрянаго свѣта — заливаеъ онъ кустъ мелкихъ розовыхъ цвѣтовъ, предъ окномъ стоящихъ. Дверь въ столовую пріоткрыта. Знакомый женскій, слегка заикающійся голосъ:

— Но я х-хочу еще яйцо. . .

Другой, тоже женскій, методическій и нѣсколько суровый. . . неразборчиво, но, видно, отрицательно.

— Мнѣ ма-мало одной чашки и яйца.

— Вамъ по режиму утромъ можно только яйцо,

безъ хлѣба. А вы ужъ столько съѣли! И еще съѣдите два яйца, если вамъ позволить.

— Да я просто, я не-хочу никакого режима!

— Зачѣмъ-же было заводить его?

— Я ду-мала, что похудѣю, но ни-исколько не худѣю, а только порчу себѣ настроеніе. . .

Капа усмѣхается.

«Все то-же. Прежде я ее окорачивала, теперь другая. И такъ-же все безуспѣшно». Голоса умолкли, слышится звукъ отодвигаемаго, въ сердцахъ, стула. На порогѣ г-жа Стаэле.

Она еще пополнила. Шей совсѣмъ не стало. Голова, какъ на блюдѣ, лежала на груди и плечахъ. Отъ красныхъ щекъ еще бѣлае казались простые, добрые глаза. Видимо, не такъ легко и ногамъ двигаться. Сейчасъ явно была она не въ духѣ.

— А, это вы. . .

Она подала ей очень маленькую, несоотвѣтствующую туловищу ручку.

— Вы куда-то совсѣмъ пропали. Вы похудѣли.

«Завидно!»

— Хворала. Только что съ постели поднялась.

Стаэле сѣла въ кресло, гдѣ было ей тѣсновато. Кончики ногъ попробовала скрестить — ничего не вышло — это нѣсколько тоже ее разстроило.

— А гдѣ-же мсье Анатоль? Онъ тогда такъ внезапно покинулъ мой д-домъ. . .

«Ну, вотъ теперь еще я за него отвѣчаю». Капа, когда шла сюда, то считала, что просто попросить для себя помощи — по старой памяти. Но сейчасъ, частію по капризу, частію въ приливъ раздражительной дерзости, мгновенно перемѣнила планъ. Именно потому,

можетъ быть, что это неразумно, она и брякнула:

— Мсье Анатоль былъ тяжко боленъ. Онъ переутомился. Сейчасъ безъ работы. Ему надо на югъ, въ хорошія условія. . .

Недовольство выступило на лицѣ Стаэле. Она нервно стала постукивать носкомъ туфли.

— И вотъ онъ посылаетъ васъ. . . просить у меня денегъ. . . Это всегда такъ. Не звонятъ, не заходятъ. . . являются лишь когда нужны деньги.

Капа поблѣднѣла.

— Онъ меня не посылалъ. Я сама къ вамъ обращаюсь. . . вы вѣдь добрый человѣкъ.

— Д-добрый, доб-рый. . .

— Я не знаю, почему онъ не давалъ вамъ о себѣ знать. Вѣроятно, просто думалъ, что вамъ неинтересно. Но сейчасъ дѣло ясное. На поѣздку и отдыхъ нужны три тысячи. Могли-ли бы вы дать ему ихъ?

Капа старалась сдерживаться, но голосъ ея звучалъ все глуше. Лицо Стаэле покрылось пятнами. Губы вздрагивали.

«Какая нервная! А говорятъ еще, что мы нервны!»

Стаэле встала, тяжело переваливаясь тѣломъ.

— Я не могу дать вамъ этой суммы. . . у меня с-сли-ш-комъ много расходовъ.

И продолжая волноваться, слегка заикаясь, объяснила, что ее осаждаютъ со всѣхъ сторонъ, и если она будетъ удовлетворять всѣ просьбы, то скоро останется безъ гроша. Кромѣ того, у нея сейчасъ огромное дѣло: переговоры съ турецкимъ правительствомъ насчетъ мозаикъ.

Капа поднялась тоже. Когда она подходила къ двери, Стаэле вдругъ остановила ее.

— Оставьте мнѣ свой ад-д-ресъ. . .

Капины провалы подъ глазами, мрачный блескъ самихъ глазъ и тоже нервное подрагиваніе губъ — точно бы немного смутили ее.

— Для чего адресъ? Я только раздражаю васъ. Это понятно. Бѣдные всегда раздражаютъ богатыхъ.

Стаэле еще больше разволновалась.

— Вы не-несправедливы. . . Вы знаете, что я очень много. . . помогаю, и нисколько на бѣдныхъ не раздражаюсь.

— Адресъ мой на визитной карточкѣ, которую вамъ подали.

— Я по-смотрю. . . можетъ быть, мнѣ и удастся что-нибудь. . .

«Да ну ее къ чорту. . .» — Капа спускалась въ сдержанно-гнивномъ настроеніи.

На улицѣ нѣсколько поостыла, хоть неприятное ощущеніе вглуби сидѣло. Почему эта Стаэле обязана давать деньги? Что ей Анатолій? Шофферъ, правда, интеллигентный и, какъ рѣдкость, забавный — (она и держала его потому, что онъ бывший дипломатъ) — постомъ не совсѣмъ ловко исчезнувшій. . . Никакихъ о себѣ вѣстей не давалъ, а теперъ вдругъ, пожалуйста.

Наступилъ полдень, *midì*, знаменитый часъ, когда банки, конторы и магазины по таинственному значку выливаютъ бойкое и живое человѣчество. Капа спустилась въ метро. Съ ней спускались такія-же дѣвушки, на подземныхъ перекресткахъ Жоржи ждали Жюльетъ, нѣжно цѣловались и бѣжали къ ближайшему поѣзду. Въ людскомъ множествѣ всѣ Жоржетты казались похожи на всѣхъ Жюльетъ и всѣ Эрнесты на Жюлей. Въ теплой живой толпѣ, ея несомая, съ нею

дышащая, Капа спускалась, подымалась летеискими коридорами, полными человеческого дыханья, тепло-влажно-пыльного воздуха. По подземнымъ путямъ въ переполненной ладьѣ неслась въ даль смутную, гулкую. Сотни чужихъ мыслей, чувствъ и желаній прошли сквозь нее, и ея собственныя чувства, незамѣтно для нея, измѣнились. Сонъ была уже Стаэле и ея паркетъ, и Вламэнкъ. Завтра надо самой на службу — вотъ въ такой толчеѣ утромъ летѣть въ одинъ конецъ, вечеромъ въ другой. Не дала, такъ не дала. А чулки эти придется подштопать, это ужь очевидно.

... Она благополучно доѣхала и обычно закончила день — одинъ изъ многихъ одинокихъ своихъ дней. И когда менѣе всего думала о Стаэле и даже объ Анатоли Иванычѣ, къ ней заявила та-же застарѣлая горничная съ письмомъ. Стаэле писала, что просить ее извинить: утромъ была разстроена и несправедливо рѣзка. Осмотрѣвшись нашла, что и просьбу можетъ исполнить. Прилагался чекъ на три тысячи.

## «ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЪТЕРЬ. . .»

Изъ окна было видно, какъ мсье Жанень, сухенькій старичекъ въ туфляхъ и старомъ засаленномъ рединготѣ, безъ воротничка, вынесъ тазикъ золы и проходилъ наискось черезъ дворъ: тутъ у него кусты крыжовника, онъ иногда подсыпаетъ туда пепель и угольки изъ печурки. Капа спрятала въ сумочку три тонкихъ, слабо хрустѣвшихъ лиловыхъ бумажки. Ей предстояло спуститься по лѣстницѣ, взять за уголь мимо быстро, откуда говорилъ Рафа по телефону, войти черезъ калитку во владѣніе Жанень, это не болѣе ста шаговъ. Но тогда — все другое: ея домъ, ея комната, генералово окно, квартирка Доры Львовны вовсе по иному представляются отсюда. Она можетъ видѣть себя и «своихъ» со стороны. И дѣйствительно, когда вошла подъ тѣнь каштана (едва хранившаго послѣдніе свои листы), вдругъ вспомнила Людмилу, какъ та не сообразила, что вѣдь это рядомъ съ Капой.

Въ новомъ мірѣ подошедшему съ тазикомъ старичку сказала она, кого желаетъ видѣть. Горбоносый старичекъ кратко, но любезно указаль.

Капа поднялась въ первый этажъ (по узенькой французской лѣсенкѣ). Ей представлялось, что идетъ она просто такъ, къ человѣку чужому, малознакомому, застегнувшись душевно, какъ застегнуть на ней не первой свѣжести темненькій костюмъ. Нѣсколько сутулясь, постучала въ дверь.

— Entrez!

Начался еще третій мѣръ. Небольшая комната съ окномъ въ переулочкѣ, довольно свѣтлая, съ каминомъ и зеркаломъ въ золотой рамѣ надъ нимъ — съ часами на подзеркальникѣ, все какъ полагается въ истинно-французскомъ старомъ домѣ. Но не полагается, чтобы на подзеркальникѣ лежали галстухи, воротнички. Странны также кораблики — искусно сдѣланные — на шкафу: бриги, фрегаты въ парусахъ, точно модели изъ музея мореплаванія. Страненъ столъ у окна — простой, вродѣ кухоннаго, застланный толстымъ сукномъ. Когда дверь отворилась, сухощавый, высокій, съ небольшою лысиною человѣкъ безъ пиджака склонялся надъ столомъ, спиной къ окну: въ великомъ прилежаніи разглаживалъ штаны, слегка дымившіеся. Увидѣвъ на порогѣ Капу, тоже ощутилъ новый мѣръ, и не сразу оторвался отъ портновскаго. Держа утюгъ, остановившимися голубоватыми глазами глядѣлъ на дверь. Потомъ улыбнулся — улыбкой милою и почти дѣтскою — утюгъ поставилъ на подставку, легкими молодыми шагами подошелъ къ Капѣ, протянувъ впередъ руки.

— Очень радъ. . . тебя видѣть.

Капа молча подала руку. Онъ ее ласково поцѣловалъ. Поднявъ голову, не выпуская руки, все улыбаясь, неподвижно смотрѣлъ на нее. Что-то очень дале-



кое, щемящей нѣжности и очарованія вдругъ ощутила она.

— У тебя такой видъ, будто ты хочешь спросить: зачѣмъ пришла? — да не рѣшаешься.

Анатолій Ивановичъ сѣлъ на диванчикъ, Капъ подвинулъ стулъ.

— Нѣтъ, я ничего, — сказала простодушно, все продолжая на нее глядѣть прозрачными, голубоватыми глазами. — Ты такъ. . . очень неожиданно. . . мы вѣдь давно не видѣлись. . .

«Все такой-же. . . Нѣтъ для него времени.»

— Анатолій, какъ ты живешь?

— Вотъ, и живу, ты видишь. . . — онъ неопредѣленно провелъ рукою по воздуху, будто указывая на свою комнату, обстановку, строй жизни. — Разумѣется, Капочка, туговато. . . теперь времена трудныя.

Онъ опять съ ласковостью и упорствомъ уставился ей въ глаза.

— Времена трудныя, Капочка, всѣ дѣла въ застоѣ.

— Да ужъ ты такой дѣлецъ. . .

Онъ нѣсколько оживился.

— У меня дѣлъ много, ты не думай. Но все неудачи. И съ кораблями слабо — онъ указалъ на модель брига на шкафу. — Единственно, что могу еще продавать, это маленькія яхточки, для тюльерійскаго прудка, знаешь, тамъ въ наемъ дѣти берутъ. Да это все мелочи, пустяки платятъ. А серьезная работа, фрегатъ, линейный корабль, никого болѣе не интересуеть.

«Все то-же полоуміе. . .» Капа помнила это еще по Константинополю. Анатолій Ивановичъ въ бѣженство вывезъ цѣлый чемоданъ моделей, инструментовъ, бичевокъ для оснащиванія. . . и никогда съ нимъ не раз-

ставался. Обожалъ онъ корбали. Съ удивительнымъ искусствомъ строилъ ихъ самъ, читалъ книги по кораблестроенію, въ портовомъ городѣ нельзя было оторвать его отъ набережной.

— Третьяго дня былъ я на Монмартрѣ у одного грека, въ особнякѣ. . . знаешь, рю Ларошфуко. Капа-допулось. Ахъ, Капочка, какой особнякѣ. . . тамъ у него и фарфоръ старинный, и табакерки, и картины. Мы съ Сережей Друцкимъ продаемъ ему одного Фрагонара. . . Если выйдетъ, я тебя у Ларю завтракомъ угошу. Или у Прюнье. Ты устрицы любишь? Да, помню, любишь. . . Капа, когда мы продадимъ ему Фрагонара, то всѣ вмѣстѣ поѣдемъ: я, ты, Сережа. Но знаешь, не завтракать. Нѣтъ, лучше обѣдать, а потомъ въ дансингъ. Меня недавно одинъ знакомый угощалъ. . . недалеко отъ Люксембургскаго сада. Ты. . . ты, Капочка, представить себѣ не можешь, какой тамъ поросенокъ.

Анатолій Ивановичъ совсѣмъ развеселился. Видимо, и Фрагонаръ, и Ларю, и поросенокъ люксембургскій уже лежали въ карманѣ.

— Или-же можно устроить такъ. Пока тамъ еще мы продадимъ греку картину, но вотъ около Елисейскихъ полей я знаю одинъ ресторанчикъ — это ужъ совсѣмъ дешево. . . замѣчательныя мули и креветки. Да. Кварталь дорогой, но это простенькій ресторанчикъ, вродѣ бистро. Называется Tout va bien. . . а? Какъ хорошо называется Tout va bien — все великолѣпно!

Анатолій Ивановичъ раскрылъ свой большой ротъ съ изящнымъ, волнистымъ очертаніемъ — и захохоталъ дѣтскимъ смѣхомъ.

— Мы туда непременно пойдёмъ, Капочка. Хозяинъ бретонецъ, черненькій такой, худощавый. . . и получаетъ мули каждый день изъ Бретани. Онъ меня любить! Ты знаешь, — лицо Анатоля Иваныча вдругъ стало серьезнымъ, глаза остановились на Капъ: онъ мнѣ всегда кредитъ оказываетъ. Мы можемъ придти, позавтракать, и ничего не заплатить!

Капа молчала. Точно-бы повернулось въ ней нѣкое колесо, возвратило года на полтора назадъ. И ничего не было! *Для него* — ничего не произошло. Все такой-же, будто вчера разстались. То, что происходило съ ней, жила она или умирала, этого онъ не зналъ, да и не интересовался. Все то-же, что было въ Константинополѣ, что было у Стаэле. Все такъ-же ласковъ, милъ. Такъ-же ни до чего нѣтъ дѣла, кромѣ Фрагонаровъ и кораблей, ресторановъ и фантастическихъ грековъ, которые яко-бы могутъ его обогатить, и все тѣ-же глаза, тѣ-же руки. . .

— Что-же ты не спросишь, какъ я жила? Все про рестораны. . .

— Да, Капочка, ты. . . вѣдь, дѣйствительно, мы давно не видались. Ты какая-то блѣдненькая. . .

Онъ взялъ ея руку, погладилъ и поцѣловалъ. Потомъ опять погладилъ.

— Ты тогда такъ внезапно исчезла. . . онъ смотрѣлъ на нее расширенными глазами, точно, правда, былъ очень удивленъ и пораженъ, что она отъ него ушла.

Капа закрыла лицо руками. Тѣло ея стало слегка вздрагивать. Она вынула платочекъ, приложила къ глазамъ. Другой рукой сжала руку Анатоля Иваныча — жестомъ вѣковѣчнымъ, женскимъ жестомъ любви, прощенья, отданія.

— Ты . . нарочно снялъ комнату рядомъ съ моею? Знаешь, что я живу черезъ дворъ?

— Да, Капочка, да . . .

Анатолій Ивановичъ заранѣе не придумалъ, что сказать, и мгновеніе находился въ нерѣшительности. Но только мгновеніе: съ обычно-нѣжнымъ лукавствомъ тотчасъ-же все сообразилъ.

— Я слышалъ, Капочка, что ты гдѣ-то здѣсь поблизости. И у меня, знаешь, было такое чувство — онъ широко раскрылъ глаза, точно выражая ими нѣчто таинственное и сложное: — что какая-то сила именно сюда меня влечетъ, вотъ такъ и тянетъ . . .

Капа продолжала плакать. Она знала, что онъ лжетъ, но пріятно было, что именно такъ лжетъ — ласково и благосклонно. Въ сущности, что она ему теперь? Бывшая подруга, отравлявшая жизнь ревностью, мученьями. И теперь едва влачащая существованіе. Нѣтъ, въ эту минуту онъ безкорыстенъ.

Капа сунула платочекъ въ сумку и рука ея наткнулась на хрустящіе билеты. Черезъ минуту, нѣсколько овладѣвъ собою, сѣла прямо и защелкнула сумку.

— Расскажи мнѣ, какъ ты это время жилъ.

Анатолій Ивановичъ заморгалъ глазами.

— Вотъ такъ и перебивался, Капочка. То что-нибудь продавалъ . . картины, разъ мнѣ брилліантовое кольцо удалось перепродать . . И раза два, знаешь, я продалъ маленькій бригъ собственнаго издѣлія, потомъ каравелу . . я точно такую сдѣлалъ, на какой Колумбъ Америку открылъ. Одинъ португалець купилъ.

— Португалець . . откуда-же ты его досталъ?

— Такъ, я встрѣчался . .

Капа знала, что всегда у него были какіе-то таинственные знакомые, и цѣлая занавѣшенная часть жизни, куда ни проникнуть нельзя, ни разузнать ничего. Онъ или отмалчивался, или переводилъ разговоръ. На этотъ разъ она сразу рѣшила, что португальца подсунула ему Олимпиада. «У этой коровы всегда какіе нибудь португальцы. . .»

Настроение стало мѣняться — точно послѣ мартовскаго паришка солнышка налетѣла (тоже краткая, но неприятная) тучка-жибулэ.

— Ну, а теперь какъ? Правда, что тебѣ очень трудно?

Анатолій Ивановичъ взялъ ее за руку и расширилъ глаза.

— Очень, Капочка. Такъ трудно, знаешь-ли. . .

Онъ снялъ руку и одной ладонью, какъ ножомъ провель по другой, точно срѣзая, или счищая.

— Какъ никогда. Платить за комнату нечѣмъ, долги, и даже вексель. . . главное, французъ. . . Онъ, Капочка, все, что у меня есть, опишетъ.

— Что-же можно описать у тебя, кромѣ штановъ?

— Онъ опишетъ. . .

«Ничего не опишетъ, разумѣется, но дѣла плохи, нѣтъ сомнѣнія. И теперь дура Капитолина должна выплывать. . . тоже бригъ парусный».

Она вздохнула, вынула изъ сумочки лиловые билеты. На лбу означились двѣ вертикальныя морщинки. Сѣрые глаза тяжело блестѣли изъ глубокихъ гровъ.

— Мнѣ Людмила сказала, что была у тебя.

— Да, Людмилочка. . . Да, заходила. . .

— Заходила. . . Ты ее самъ звалъ. Ну, однимъ словомъ, я все знаю. Я достала тебѣ денегъ. Вотъ, бери.

— Это. . . мнѣ?

Глаза его съ волненіемъ остановились на билетахъ. Къ деньгамъ было у него восторженное отношеніе. Онъ ихъ обожалъ. Они давали ему полетъ, развязывали фантазію. Онъ не могъ хранить деньги — онъ утекали отъ него. Если шли къ нему, то по вольной ихъ волѣ, онъ не зазывалъ. Никогда въ потѣ лица не зарабатывалъ денегъ Анатолій Ивановичъ. Но поддавался имъ. И сейчасъ голодный блескъ глазъ его ударилъ по Капѣ, сгустивъ тучку-жибулэ.

— Да, тебѣ, безъ отдачи.

На мгновеніе взоръ его почувствовалъ тучку. Умоляющее выраженіе въ немъ мелькнуло. Но восторженность взяла верхъ. Поблѣднѣвъ, протянулъ руку. И холодокъ, нервнымъ содраганіемъ, прошелъ къ сердцу.

— Ну, вотъ, — сказала Капа глухо: — теперь не опишутъ.

Онъ безсмысленно повторилъ:

— Теперь не опишутъ.

Капа встала.

— До свиданья.

— Куда-же ты, Капочка?

— Домой.

— Почему-же, такъ скоро. . .

— Нужно.

Капа медленно, и тоже взволнованно, надѣвала перчатки — ей нравилось, что вотъ какъ настоящая дама надѣваетъ она ихъ (а внизу ждетъ автомобиль!), что уходитъ подъ занавѣсъ.

— Если захочешь меня видѣть, вечеромъ я чаще всего дома.

\* \*

\*

Поднимаясь къ себѣ по лѣстницѣ, шагомъ быстрымъ и сосредоточеннымъ, она услышала голоса, съ площадки у генераловой квартиры. Увидѣла голыя колѣнки мальчика, опершагося на перила, и край черной рясы.

— Генерала нѣтъ дома, — говорилъ Рафа. — Если вамъ что-нибудь нужно передать, я могу. Я его сосѣдъ.

— Сосѣдъ, сосѣдъ... да мнѣ бы самого Михаила Михайловича.

Голосъ былъ негромкій, пѣвучій. Капа выставилась со своей площадки въ пролетъ, подняла голову, чтобы лучше разсмотрѣть. Увидѣла невысокаго монаха, худенькаго, съ огромною сѣдою бородой. Поглаживая ее одною рукой, другой онъ подобралъ рясу, нерѣшительно дѣлая первые шаги внизъ.

— Огорчительно, что не засталъ. Такъ ты, обратился онъ вдругъ къ Рафѣ, слѣдовавшему за нимъ: — сосѣдъ генераловъ?

— Сосѣдъ, — отвѣтилъ тотъ не безъ важности. — И другъ.

Старичекъ разсмѣялся.

— И другъ! Ахъ ты мальченокъ какой разумный. Да такой ловкій! И другъ... — Онъ обернулся, положилъ руку на рафину голову и слегка поерошилъ курчавые его волосы.

— Что называется, старый да малый.

Но Рафа чувствовалъ себя нѣсколько неловко. Показалось, что ему не вѣрять.

— Вамъ и Капитолина Александровна можетъ подтвердить. . . — сказалъ онъ натянуто, увидавъ Капу.

Она отворила дверь къ себѣ, но войти медлила. Монахъ обернулся, увидалъ ее, улыбнулся.

— Тоже русскія будете?

— Да.

— Вотъ какъ приятно! Весь домъ русскій. Утѣшительно.

Капа взглянула на маленькіе свои ручные часы.

— Половина седьмого. Михаилъ Михайловичъ скоро вернется. Къ семи непременно.

— Ахъ, какъ обидно! Подумайте, вѣдь откуда пріѣхалъ, съ самаго съ Гаръ дю Норъ!

— Зайдите ко мнѣ, — сказала Капа: — подождите генерала, что-же вамъ понапрасну. . .

— Ну какая милая барышня! Прелюбезная. А ежели я васъ стѣсню?

— Чѣмъ-же стѣсните? Вы стѣснить меня не можете.

— Премного благодаренъ, такъ та-акъ-съ! Ежели разрѣшите, воспользуюсь. . .

— Рафа, заходи и ты. — А это дѣйствительно другъ генерала, онъ вамъ правду сказалъ.

— Да я и не думалъ, что неправду. Это вѣдь по глазамъ видно, что другъ. А теперь разрѣшите и мнѣ. Вступая въ ваше помѣщеніе, столь мнѣ добросердечно предложенное, представиться: іеромонахъ Мельхиседекъ.

Войдя въ комнату онъ быстрымъ, легкимъ взоромъ осмотрѣлъ ее. По монашеской привычкѣ, увидѣвъ въ



углу образокъ, потемнѣвшій, въ запыленномъ окладѣ — Ахтырской Божіей Матери — широко перекрестился. Лицо сразу стало серьезнымъ, сухенькое, старенькое тѣло подобралось. Что-то серебряное, какъ показалось Капѣ, вошло въ комнату.

А Мельхиседекъ сѣлъ, расправилъ полы рясы и опять широко улыбнулся.

— Во святомъ крещеніи имя Капитолина? Такъ, такъ. . . хорошо.

Онъ разложилъ теперь по груди бѣлую, вѣрообразную бороду, такъ что она закрыла даже священническій крестъ. Небольшіе пальцы привычно крутили пряди волосъ въ бородѣ — пряди слегка волнистыя, электрически сухія и удивительно легкія. Рафа внимательно его разсматривалъ. Потомъ подошелъ къ Капиному стулу, оторвалъ клочекъ бумаги, что-то записалъ.

Посматривая иногда на Рафу небольшими, нѣкогда голубыми, а теперь выцвѣтшими глазами, вокругъ которыхъ собрались сложныя сѣти морщинокъ (то расправлявшихся, то вновь набѣгавшихъ, точно рябь на озерѣ отъ вѣтерка), Мельхиседекъ бесѣдовалъ съ Капой. Разговоръ былъ простой. Замужняя-ли она? Чѣмъ занимается? Сколько платитъ за квартиру? Узналъ, что незамужняя, служитъ въ русской кондитерской — тамъ знаменитые пирожки и кулебяки. Когда дошло дѣло до семьи, спросилъ:

— Изъ купческаго званія?

— Нѣтъ, — Капа слегка улыбнулась: — изъ духовнаго.

— Вотъ какъ, вотъ какъ. . . — морщинки о. Мельхиседека пріятно расправились. — Я думалъ, имя Ка-

питолина, нерѣдко дается среди купечества. Изъ духовнаго званія, значить, тѣмъ ближе намъ...

— Мой отецъ былъ инспекторомъ духовнаго училища. Но по правдѣ сказать, у меня не особенныя остались воспоминанія о духовныхъ. Священники больше хозяйствомъ занимались, отецъ былъ невѣрующій, да и многіе семинаристы, кого я знала, тоже были невѣрующіе. Сплетни, дразги, жадность. Нѣтъ, извините меня, я не любительница нашего сословія.

Мельхиседекъ вздохнулъ.

— Да, бывало, всяческое, разумѣется, бывало... Батюшка вашъ невѣрующій, да, такъ... Ну, а вы сами, разрѣшите спросить: вѣрующая?

— Д-да... но не совсѣмъ по церковному.

Мельхиседекъ тихо и добродушно разсмѣялся.

— Нерѣдко такъ говорятъ, и даже на исповѣди: «вѣрю, батюшка, но по своему.» Иной разъ это значить, что и вовсе не вѣрю. Такъ, такъ...

Капа чувствовала себя нервно. Впечатленія этого дня мѣшались, двоились. Изъ-за старичка съ бѣлою бородой выглядывалъ временами высокій сухощавый человекъ съ безразлично-ласковыми голубыми глазами. А старичекъ, неизвѣстно откуда взявшійся, сидѣлъ въ креслицѣ будто полжизни здѣсь просидѣлъ, и говорилъ такъ, будто она ему не первая встрѣчная, а внучка. Ни противиться, ни разсердиться на него никакъ нельзя было — онъ какой-то неуловимый и неуязвимый — станешь возражать, онъ начнетъ покручивать серебряныя пряди въ бородѣ да улыбаться... И Капа ничего ему не сказала насчетъ угловатостей своихъ.

Онъ-же, помолчавъ, самъ перешелъ на другое.

— Михаила Михайловича я давно разыскиваю. Перебравшись сюда из Югославіи, намѣреваюсь вновь возстановить знакомство. Я его еще съ Россіи знаю. . . Онъ къ намъ въ Пустынь въ бытность полковымъ командиромъ не разъ пріѣзжалъ. Имѣніе находилось по сосѣдству. А тамъ, знаете-ли, когда началась война, то слышно, сначала бригадой командовалъ, потомъ дивизіей. . . а затѣмъ даже цѣлый корпусъ получилъ. Лицо разумѣется, значительное, и дальше пошелъ-бы, но тутъ революція. . . Да-а, много натерпѣлся, сердешный. . . и тѣломъ едва спасся. А видный собою былъ.

— Онъ и теперь видный.

— И слава Богу. Да ужъ теперь-то такимъ, какъ ранѣе былъ, не будетъ. Оно можетъ и къ лучшему. Мнѣ недавно епископъ одинъ говоритъ: «я прежде — въ Россіи, то-есть, до революціи — цѣльный домъ занималъ, одиннадцать комнатъ, въ каретѣ ѣздилъ, въ шелковой рясѣ ходилъ, и все это мнѣ казалось естественнымъ, обычнымъ. Какъ-же, молъ, архіерей да не въ каретѣ. . . А теперь пѣшимъ порядкомъ, или въ метро въ ихнемъ, во второмъ классѣ съ рабочими. . . да что же, говоритъ, здѣсь настоящее мое мѣсто и есть, именно во второмъ классѣ съ тружениками, а не съ нарядными дамами, поклонницами архіереевъ. И по совѣсти, я себя въ теперешней моей каморкѣ ближе къ Богу чувствую, чѣмъ въ прежнемъ архіерейскомъ подворьѣ». Такъ что жизнь, знаете-ли, весьма людей мѣняетъ. Какъ-бы ужъ тамъ видный ни былъ изъ себя Михаилъ Михайлычъ, все-же таки не то, чѣмъ когда корпусомъ командовалъ.

При другихъ обстоятельствахъ Капа тотчасъ-же вступила-бы въ споръ. Для чего это нужно унижать

лучшихъ нашихъ людей? Жить такъ жить, — но тогда надо бороться, а не поддаваться судьбѣ — и многое въ подобномъ родѣ. Но сейчасъ ничего не сказала. Мельхиседекъ-же, во время словъ своихъ, не разъ взглядывалъ на Рафу. Тотъ слушалъ почтительно и вѣжливо, но мало понималъ. Слова Мельхиседека казались ему пріятной пѣснью на иностранномъ языкѣ. И когда Рафа отвернулся къ окну, Мельхиседекъ всталъ, очень быстро, проворно, не совсѣмъ даже по возрасту — и, протянувъ руку къ столу, взялъ бумажку.

— Ну, что ты тамъ изобразилъ?

Рафа сконфуженно бросился было къ нему, но Мельхиседекъ уже прочелъ и засмѣялся.

— *Melchisédeck, nom étrange,* — произнесъ онъ вслухъ, съ тульскимъ выговоромъ. — *Jamais entendu.* Спросить у генерала.

Мельхиседекъ продолжалъ улыбаться. Теперь и Капа не могла не усмѣхнуться. Ее положительно заражала хорошая погода на лицѣ гостя.

Рафа какъ бы оправдывался.

— Я не понимаю этого имени, и никогда раньше его не слыхалъ. . .

— Имя рѣдкое, отвѣтилъ гость. — Ты, милый человекъ, не удивляйся, что не слышалъ. Рѣдкое имя и высокое. . . Трудно даже его носить. Таинственное. Царь Салимскій, священникъ Бога Всевышняго. Вотъ какъ!

Мельхиседекъ опять сѣлъ, взявъ Рафу за руку и худенькою своей рукою принялся гладить его ладонь. Лицо его стало очень серьезнымъ.

— Библии-то, небось, и не видалъ никогда? И святого Евангелія. . . Кому учить, кому учить, — прого-

вориль какъ бы въ раздумьѣ. — Мы, старшіе, виноваты.

Рафа стоялъ передъ нимъ съ чувствомъ нѣкоей вины и грусти, но не страха. Этотъ старичекъ съ вѣробразной бородой нисколько его не пугаль. И захотѣлось показать себя съ лучшей стороны.

— Я знаю, чѣмъ архіерей отличается отъ патріарха.

— Отъ патріарха?

— У архіерея на головѣ черный клобукъ съ такимъ шлейфомъ, а у патріарха бѣлая шапочка, и съ обѣихъ сторонъ висятъ полотенца. На нихъ крестъ и вышить.

— Вонъ онъ какой знатокъ! Прямо, братецъ ты мой, знатокъ!

— Это все генералова наука, — сказала Капа. — Его мать, Дора Львовна, просто удивляется, откуда у него все такое.

Въ это время надъ потолкомъ раздались звуки, похожіе на шаги. Рафа мгновенно вырвалъ руку у Мельхиседека — бросился къ двери.

— Генераль вернулся, онъ таки уже вернулся! — крикнулъ съ порога. — J'en suis sûr. Сейчасъ сбѣгаю!

И выскочилъ на лѣстницу.

Мельхиседекъ поднялся.

— Душевно благодарю, Капитолина Александровна, что помогли. Странника невѣдомаго пустили къ себѣ.

— Ну, это пустяки. . .

— Миръ и благодать дому вашему.

Капа сложила руки лодочкой и подошла. Онъ осѣнилъ ее небольшимъ крестнымъ знаменіемъ.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Не доходя до двери, остановился.

— Полагаю, что теперь у меня будутъ съ Михаиломъ Михайловичемъ нѣкоторыя сношенія. Если-бы я вамъ чѣмъ-нибудь понадобился... побесѣдовать, или какіе трудные вопросы, обстоятельства, вообще что-нибудь, то передайте лишь черезъ него, я всегда могу придти.

Капа поблагодарила. Онъ ушелъ. А она потушила свѣтъ въ комнатѣ, приблизилась къ окну. Сначала въ темнотѣ видѣлись лишь свѣтлыя щели жаненовскихъ ставень. Потомъ и особнячокъ съ каштанами своими выдѣлился — глазъ привыкъ. Вышла изъ двери старушка Жанень, понесла коробку съ объѣдками въ уголъ сада, къ мусорной кучѣ. «У французовъ никогда нѣтъ настоящаго крыльца, или терассы... Почему у нихъ нѣтъ балконовъ?»

... А внутри было сложно-взволнованное. Путалось, переплеталось. Хорошо, или не хорошо? Страшно, и радостно. Старичекъ со страннымъ именемъ. «Если бы понадобился, могу придти...» А тотъ разглаживаетъ, навѣрно, свои галстухи, пересчитываетъ деньги. Тотъ-то придеть?

## КЕЛЯ

На этотъ разъ генераль быстро выпроводилъ Рафу. Тому очень хотѣлось поговорить съ Мельхиседекомъ, поразспросить его. Но пришлось подчиниться. Противорѣчить онъ никакъ не могъ, да и доводъ былъ серьезный: «на лѣстницѣ встрѣтилъ мать, она будетъ сердиться — вѣчно ты по гостямъ. . .» Мельхиседекъ на прощанье поцѣловалъ его въ лобъ.

— Онъ дѣйствительно мой другъ, — сказалъ генераль, когда Рафа вышелъ. — Какъ бы и внукъ. Впрочемъ, у меня настоящій внукъ есть. Въ Россіи. Вы, отецъ Мельхиседекъ, можете быть помните, когда мы къ вамъ въ Пустынь пріѣзжали съ Ольгой Сергѣевной, то съ нами дѣвочка была, такая маленькая, все мать за ручку держала. Да-да-да. . . а. Это и есть Машенька.

Генераль налилъ чаю Мельхиседеку и себѣ.

— Ольга Сергѣевна въ самомъ началѣ революціи скончалась, въ Москвѣ. Надорвалась. На салазкахъ дрова таскала, черезъ всю Москву. Въ очередяхъ мерзла, мѣшечницей въ Саратовъ ѣздила. Сыпнякъ захва-

тила. Царство небесное, царство небесное. Я въ то время подь Новочеркасскомъ дрался.

Генераль всталъ, подошелъ къ комоду, гдѣ лежали гильзы, табакъ, машинка — принялся набивать папиросу.

— Старъ становлюсь, слабъ. Часто плачу, отецъ Мельхиседекъ. Вотъ и сейчасъ, увидѣлъ васъ. Все прежнее. . . Но ничего, смѣлѣе, кричалъ лордъ Гленарванъ. Колоннами и массаами!

Онъ примялъ палочкой табакъ въ машинкѣ, вставилъ въ гильзу, втокнулъ содержимое — папироса отскочила. Обрѣзалъ ножницами вылѣзавшіе хвосты, закурилъ.

— Ольга Сергѣевна такая и была-сь. . . да, прямая, трудная — она, можетъ, и во время умерла, генеральшей жила, генеральшей скончалась. Все равно, не могла согнуться. Ну, а Машенька стала не то что дѣвочкой, а давно замужемъ, и у нея сынъ, Ваня, постарше вотъ этого малаго. Тоже она бьется. Я, даже, не знаю, по совѣсти, какъ изворачивается. Пока мужъ былъ живъ, такъ сякъ. Онъ тамъ въ какой-то главрыбѣ служилъ, но и мужъ померъ. Да съ другой то стороны и хорошо, что померъ. . .

— А какъ звали ея мужа? — спросилъ Мельхиседекъ.

И когда генераль сказалъ, вынулъ изъ кармана книжечку, надѣлъ очки и записалъ.

— Почему-же хорошо, что зять вашъ умеръ?

— Эту самую главрыбу черезъ полгода по его смерти всю раскассировали, кого въ Соловки, большинство къ стѣнкѣ — тамъ у нихъ это просто-сь. . . Такъ по



крайней мѣрѣ онъ естественной смерти дождался, не насильственной отъ руки палача.

Мельхиседекъ уложилъ вновь очки въ глубины ясы.

— Такъ-такъ. . . Ну, это разумѣется.

— Машенька-же теперь одно рѣшеніе приняла.

Фигура генерала высилась надъ столомъ прямо, плечи слегка приподняты. Свѣтъ сверху освѣщаль лысину. Лицо, въ тѣняхъ, съ сухимъ и крѣпкимъ носомъ, казалось еще худощавѣй.

— Объ этомъ одинъ только мальчикъ этотъ знаетъ, да теперь вы. Машенька сюда ѣдетъ, вотъ въ чемъ дѣло.

Генералу трудно было удержаться. То садясь, то вставая, рассказывалъ онъ про дочь все, что зналъ. И бутылку литровую, гдѣ позвякивало теперь десятка три желтенькихъ полтинниковъ, тоже показалъ Мельхиседеку.

— Фондъ благоденствія, о. Мельхиседекъ. Счастливъ былъ-бы, если-бы тамъ золотые лежали, но и простые полтиннички, трудовые французскіе грошики — и то сила!

— А еще бóльшая сила, Михаилъ Михайловичъ, въ желаніи, т. е. въ стремленіи обоюдномъ встрѣтиться. Если Богъ благословитъ — то великая сила-съ. . . Душевно сочувствую, душевно. Машеньку-то я помню — ну, теперь, разумѣется, и не узналъ-бы.

Они замолчали. Генераль, въ потертомъ пиджакѣ, мягкихъ туфляхъ, ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, пощелкивая пальцами сложенныхъ за спиной рукъ. Мельхиседекъ опрокинулъ чашку, сидѣлъ смирно. Генераль вдругъ остановился.

— Очень радъ, что вы пришли нынче ко мнѣ, о. Мельхиседекъ. — Неожиданно. Яко изъ-подъ земли возстаху. Клопсъ и отдѣлка. А вѣдь вы одинъ, пожалуй, во всемъ этомъ Парижѣ, помните Ольгу Сергѣевну, Машеньку знаете, мое имѣніе. . . Вы мнѣ сказали, — изъ Сербіи пріѣхали? Что-же тутъ думаете дѣлать?

— Что мнѣ назначать, Михаилъ Михайловичъ. — Мало-ли дѣла. . . всего за жизнь не передѣлаешь. Но если ужъ сказать, имѣется для Парижа и особенное. Можетъ быть, изъ-за него преимущественно я сюда и пріѣхалъ, въ этотъ Вавилонъ-то вашъ, какъ это говорится, всемірный Вавилонъ городъ-Парижъ. И у васъ я не совсѣмъ напрасно.

Мельхиседекъ распустилъ вдругъ морщинки у глазъ легкимъ и нѣсколько лукавымъ вѣеромъ.

— Я вѣдь не такой ужъ простодушный монашекъ-старичекъ, я, знаете-ли, и умыслы всякіе имѣю, и на васъ, Михаилъ Михайловичъ, какъ на давняго сочувственника рассчитываю.

— Одну минуту, отецъ Мельхиседекъ. — Подогрѣю.

Генералъ взялъ чайникъ, вышелъ съ нимъ въ кухню и поставилъ на газъ. Сѣдя его брови пошевеливались, усы нависали надъ сухимъ подбородкомъ. Вернулся онъ съ нѣкимъ рѣшеніемъ.

— Независимо отъ того, что вы мнѣ расскажете, предлагаю остаться у меня ночевать. И никакихъ возраженій. Чѣмъ черезъ весь городъ въ свой отельчикъ тащиться, переночуете у меня. Да. И никакихъ возраженій. Прекрасно. А теперь слушаю. Къ вашимъ услугамъ.

Отпивая свѣжій горячій чай, Мельхиседекъ разска-  
залъ, въ чемъ состояло «особенное» его дѣло. Уже нѣ-  
сколько времени находился онъ въ перепискѣ съ архи-  
мандритомъ Никифоромъ, проживающимъ въ Пари-  
жѣ — съ этимъ Никифоромъ встрѣчался еще во вре-  
мя паломничества на Афонъ, и не со вчерашняго дня  
возникла у нихъ мысль: основать подъ Парижемъ  
скитъ, небольшой монастырекъ. Никифоръ кое-что  
присмотрѣлъ — именно, старинное аббатство. Оно въ  
запушеніи. Надо его нѣсколько возстановить, приспо-  
собить — и тогда отлично все устроится. А потомъ за-  
вести при немъ школу, воспитывать и обучать дѣтей.  
Кое-что удалось уже собрать и денегъ.

Генеральъ вдругъ засмѣялся.

— А меня въ этотъ монастырь игуменомъ? Посохъ,  
лиловая мантия. . . исполай ти деспота?

Мельхиседекъ внимательно на него посмотрѣлъ, но  
не улыбнулся.

— Нѣтъ, я не за тѣмъ къ вамъ обращаюсь, Миха-  
иль Михайловичъ. Въ игумены вамъ еще рано. . . У  
насъ настоятелемъ видимо будетъ архимандритъ Ни-  
кифоръ. А вотъ ежели-бы вы къ этому серьезно отнес-  
лись, то какъ мірянинъ намъ могли-бы посодѣйстви-  
вать. Могли бы къ содружеству нашихъ сочувственни-  
ковъ примкнуть. Поддерживали-бы насъ въ обществѣ,  
можетъ быть, что нибудь и собрали-бы среди русскихъ  
— на подписномъ листѣ.

— Такъ, такъ, все понялъ. И съ благословенія ар-  
хіепископа? Вы какъ — подъ здѣшнимъ начальствомъ,  
или подъ тамошнимъ, сербскимъ?

— Принадлежу къ юрисдикціи архіепископа Игна-  
тія.

— Охъ, эти мнѣ ваши архіерейскія распри. . . Архи-гіереусы. . . Архі-ерей, архи-гіереусъ, значить первожрецъ. . .

— Первосвященникъ, а не первожрецъ, — тихо сказалъ Мельхиседекъ.

— Ну да, да, конечно, первосвященникъ. . . Извините меня, о. Мельхиседекъ — срывается иной разъ. Да. Что-же до содѣйствія, то охотно, хотя, прямо скажу: болѣе по личному къ вамъ отношенію, о. Мельхиседекъ. Ибо въ эмигрантской жизни монастырь. . . . . м-м! м-мъ! — генераль нѣсколько разъ хмыкнулъ. — Такая страда, всѣ бьются. Не сказали-бы; роскошь, не по сезону въ сторонкѣ сидѣть да канончики тянуть. Для васъ, во всякомъ случаѣ, о. Мельхиседекъ, охотно.

— А вы не только для меня.

Поднялся разговоръ о монастыряхъ. Мельхиседекъ неторопливо и спокойно объяснялъ, что скитъ задуманъ трудовой, всѣ монахи должны работать и ocupar свою жизнь. Они будутъ, одновременно, и обучать дѣтей, и ихъ воспитывать. Тутъ особенно видѣлъ Мельхиседекъ новое въ православіи: въ прежнихъ нашихъ монастыряхъ этого не бывало.

— Очень хорошо, — сказалъ генераль. — Все это прекрасно. Что-же говорить, я самъ, вы вѣдь помните, къ вамъ въ Пустынь пріѣзжалъ. И мнѣ нравилось. . . гостиница ваша, чистые коридоры, половички, герань, грибные супы, мальвы въ цвѣтникахъ, длинныя службы. . . А все-таки — только пріѣхать, погостить, помолиться, да и домой. Нѣтъ, мнѣ трудно было-бы съ этими астрами и геранями сидѣть. . . А теперь и тѣмъ болѣе. Я слишкомъ жизненный человекъ. А вы ми-

стики. Иисусова молитва! «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя!» — и это произносите вы въ келіи на вечернемъ правилѣ десятки, сотни разъ. Извините меня, это можетъ Богу надоѣсть. Возьмемъ жизненный примѣръ: положимъ, взялся я любимой женщиной твердить — разъ по пятисотъ въ день: люблю тебя, люблю тебя, спаси меня. . . Да она просто возненавидитъ. . .

— То женщина, Михаилъ Михайловичъ, а то Господь.

Генераль захохоталъ.

— Разу-мѣется, это армейская грубость. Еще разъ прошу извиненія. Я самъ въ Бога вѣрую и въ церковь къ вашему архи-іереусу хожу, и религію высоко чту, но этотъ, знаете-ли, монашескій мистицизмъ, погруженіе себя здѣсь-же въ иной міръ — не по мнѣ, не по мнѣ-съ, о. Мельхиседекъ, какъ вамъ угодно. . .

Мельхиседекъ поигралъ прядями бороды.

— Я и не жду отъ васъ, Михаилъ Михайловичъ, что-бы вы жили созерцательною жизнью. Я вашу натуру знаю.

— Да, вотъ моя натура. . . Какая есть, такая и есть. Хотя я за бортомъ жизни, но боевой духъ не угасъ. Если-бы вы благословили меня на бранное поле, на освобожденіе родины, а-а, тутъ-бы я. . . аттакаціонными колоннами. . . Мы бы имъ показали — попрержнему, одинъ противъ десяти, но показали-бы. А вы бы на бой благословили, какъ нѣкогда преподобный Сергій противу татаръ. . .

Мельхиседекъ улыбнулся.

— И мнѣ до Сергія далековато, и вы, Михаилъ Михайловичъ маленько до Дмитрія Донского не достали. . .

Да и времена не тѣ. Другія времена. У Дмитрія-то рать была, Русь за нимъ. . . а у васъ что, Михайль Михайловичъ, позвольте спросить? Карть д'идантитѣ въ бумажникѣ, да эта комнатка-съ, болѣе на келію похожая, чѣмъ на княжескія хоромы. . .

Генераль опять захохоталь — и довольно весело.

— Все мое достояніе — карть д'идантитѣ! А вы лукавый, правда, человекъ, о. Мельхиседекъ! Такъ, съ виду тихій, а потихоньку что нибудь и отмочите.

\* \*

\*

Мельхиседекъ не сразу согласился ночевать. Но генераль настаиваль.

— Искреннее удовольствіе доставите. Свою кровать уступаю, самъ на тюфякѣ на полу.

Но Мельхиседекъ поставилъ условіемъ, что на полу ляжетъ онъ, и въ прихожей. Такъ меньше для него стѣснительно.

Занялись устройствомъ на новомъ мѣстѣ.

— Вотъ вы о скитѣ говорили, о. Мельхиседекъ, а вѣдь знаете, тутъ у насъ въ этомъ домѣ, въ своемъ родѣ тоже русскій уголь — скитъ не скитъ — а такъ чуть-ли не общежитіе, хотя у каждого отдѣльная квартира, или комната.

— Знаю, я у сосѣдки вашей даже былъ — у Капитолины Александровны. Русское гнѣздо, въ самомъ, такъ сказать, сердцѣ Парижа. Утѣшительно. Что-же, согласно живете? — т. е., я хочу сказать: здѣшніе русскіе?

Генераль стелиль простыню на матрасикъ въ прихожей.

— Ничего, согласно. Да вѣдь большинство и на работѣ цѣлый день.

— Трудящіеся, значить.

— Да, ужъ тутъ у насъ маловато буржуевъ-съ. . .

— Такъ, та-акъ-съ. . . Небезынтересно было бы, если-бы вы сообщили имена ихъ, также краткія характеристики.

— Имена! Характеристики! Для чего это вамъ, о. Мельхиседекъ?

— А такое у меня обыкновеніе: гдѣ мнѣ даютъ пріютъ, тамъ я въ вечернее правило вставляю всѣхъ членовъ семьи и молюсь за благоденствіе и спасеніе ихъ. Здѣсь у васъ, собственно, не семья, но мнѣ показалось, что есть нѣкое объединеніе, потому и нахожу умѣстнымъ ближе ознакомиться.

И онъ опять вынулъ свою книжечку.

— Извольте, — сказалъ генераль. — Поѣдемъ снизу. Ложа консьержки, гарсоньерка — мимо. Первый этажъ — французы. Со второго начинается Россія. Капитолина Александровна — одинокая, служитъ. Возрастъ: двадцать шесть, двадцать семь. Своеобразная и сумрачная дѣвица. На мой взглядъ — даже съ норовомъ.

— Знакомъ-съ. У меня и отмѣтка есть.

— Напротивъ нея — Дора Львовна, массажистка, съ сыномъ Рафаиломъ, вамъ также извѣстнымъ.

— Дора. . . по нашему Дарія? — Иудейка?

— Да, происхожденія еврейскаго. А замужемъ была за Лузинымъ.

— Нѣсть еллинъ ни іудей. Все едино.

— Затѣмъ я. Противъ меня Валентина Григорьевна, портниха, съ матерью старушкой. Немудрящая, и что называется, чистое сердце. Шьетъ отлично. Вдова.

— Очень хорошо-съ. Дальше.

— Надо мною художникъ, патлатая голова. Выше тамъ шофферъ Левъ и рабочій на заводѣ, имени не знаю. Раннимъ рано по лѣстницѣ спускаются. Тоже все русскіе. Но долженъ сказать, есть еще жилища, напротивъ художника, эта будетъ француженка. Именемъ Женевьева.

— А-а, имя хорошее. Святая, покровительница столыцы.

— Та то была святая, только не наша Женевьевка. Наша намъ нѣсколько дѣло портить. Тутъ ужъ до скита далеко, это, я вамъ скажу, такой получается скитъ. . . м-м. . . и не дай Богъ.

— Чѣмъ-же занимается она?

Генераль запнулся. Свѣдѣя брови его свѣлали неопредѣленное движеніе.

— Что-же тутъ говорить. . . Блудница. Такъ и записать можете, о. Мельхиседекъ. Безъ ошибки.

Мельхиседекъ покачалъ головой.

— Ай-ай-ай. . .

— До трехъ дома, а тамъ на работу. По кафе, по бульварамъ шляется. Изо дня въ день.

— Какъ неприятно, какъ неприятно! Же-не-вье-ва. . . — записывалъ Мельхиседекъ. — Сбившаяся съ пути дѣвушка. Ну, что-жъ что блудница. И за нее помолимся. За нее даже особо.

— Вы думаете, это Соня Мармеладова? Пьяненькій отецъ, нищета, самопожертвованіе? Очень мало сходства. Мало. Она лучше всѣхъ насъ зарабатываетъ.



И ее гораздо больше уважаютъ. Въ сберегательную кассу каждую субботу деньги тащить.

— Нѣтъ-съ, я ничего не думаю. Разныя бываютъ. . .  
А характера какого?

— Богъ ее знаетъ, встрѣчаю на лѣстницѣ. Тихая, какая-то, вялая. Ей, навѣрно, все равно. . .

— Закаменѣлая.

Мельхиседекъ дважды подчеркнулъ слово «Женевьева» и спряталъ въ карманъ книжечку.

— Что-же до васъ касается, — обратился къ Михаилу Михайловичу, — то главнымъ, что движетъ сейчасъ вашу жизнь, насколько я понимаю, является желаніе встрѣтить дочь?

— Совершенно правильно. А еще-съ: сверженіе татарскаго ига и возстановленіе родины.

Мельхиседекъ слегка улыбнулся.

— Задачи немалыя.

На этомъ они разстались. Мельхиседекъ притворилъ дверь, снялъ рясу, и похудѣвшій, совсѣмъ легенькій, съ бѣлой бородой-парусомъ, сталъ на молитву. «Канончикъ» его былъ довольно сложный, занималъ много времени.

Генераль-же разложилъ пасьянсъ. Онъ раскладывалъ его тщательно, карту къ картѣ. Самый видъ стройныхъ колоннъ доставлялъ ему удовольствіе. Оно возростало, когда пасьянсъ выходилъ. И еще расло, если выходилъ на заказанную тему. Нынче генераль загадалъ на Машеньку. Приѣдетъ, или нѣтъ? Карты долго колебались. Онъ задумчиво группировалъ, подбиралъ разныя масти въ колоннахъ — сложными маневрами довелъ, наконецъ, до того, что оставшимся картамъ вдругъ нашлось мѣсто. Валеты, тройки, де-

вятки покорно ложились куда надо. Генераль любилъ этотъ моментъ.

— Прорвались... — бормоталъ про себя. — Трах-тара-рах-тах-тахъ!

Ему казалось, что таинственный противникъ сломленъ. И сложивъ орудія производства, перекрестивъ на ночь лобъ, сталъ раздѣваться. Изъ его маленькой передней, совершенно сейчасъ темной, худенькій старичекъ долго еще посылалъ безмолвныя радіо.

## ВВЕРХЪ И ВНИЗЪ

Когда кому-нибудь въ домѣ не спалось, первые звуки, опредѣлявшіе время, были шаги по лѣстницѣ — внизъ. Это шель на заводъ рабочій, снимавшій верхнюю комнатку. Нѣсколько позже спускался шофферъ Лева, худоватый блондинъ съ холодными глазами, изящный, въ кэпкѣ и коричневомъ пальто. Позже Дора Львовна, въ халатѣ, выносила коробку съ соромъ. Шла за молокомъ Валентина Григорьевна — начинался день русскаго дома.

Если-бы стѣны лѣстницы могли записывать мысли, чувства проходившихъ, узоръ получился-бы пестрый. Главное, впрочемъ, были-бы мелкія житейскія вещи. . . но не онѣ однѣ.

Валентина Григорьевна, оторвавшись отъ фасончиковъ, «сборовъ» и «складовъ», звонила къ сосѣдкѣ. Въ полуоткрытую дверь, улыбаясь, шептала:

— Дора Львовна, дуся, не достану у васъ маслица? Мама безусловно забыла купить, знаете-ли, спускаться въ эписери не хочется. . .

Въ другой разъ сама Валентина Григорьевна «одалживала» Капъ яйцо или друшлякъ. Меньше всѣхъ имѣла дѣла съ сосѣдями Женевьева. Эта просыпалась поздно, въ постели пила кофе и читала романы. Завтракала, мылась, долго и тщательно расчесывала рѣсницы, работала пуховкой и румянами. Ровно въ три уходила, неторопливо спускаясь по лѣстницѣ. Ея изящное и равнодушное лицо было покойно — ничего не выражало. Женевьева знала, что лицо не имѣетъ значенія. «Меня кормятъ бедра, говорила подругѣ (впрочемъ, выражалась прямѣе. . .). И проходила, или не проходила Женевьева, слѣда не оставалось — какъ отъ тѣни.

Съ нѣкоторыхъ поръ сталъ появляться на лѣстницѣ человекъ въ изумительно глаженныхъ брюкахъ, дорогой сѣрой шляпѣ. Въ первое посѣщеніе, вечеромъ, принесъ Анатолій Ивановичъ Капъ чудесный букетъ розъ.

Она даже смутилась. Кто, когда дѣлалъ ей такіе подарки?

— Капочка, ты не можешь себѣ представить, какъ меня выручила. Я тебѣ страшно, страшно благодаренъ. Просто и не знаю, что бы безъ тебя дѣлалъ.

Капа, слегка покраснѣвши, поставила розы въ стеклянный, голубоватый кувшинъ.

— Что-же, ты заплатилъ по векселю?

— Разумѣется. . . теперь все улажено, Капочка — и лишь благодаря тебѣ. . .

Онъ всталъ, подошелъ къ зеркалу, принялся поправлять галстухъ — сравнивать концы бабочки. Зеленоватые, чуть-ли не дѣтской ясности глаза глядѣли на него изъ зеркала. Онъ на минуту и самъ повѣрилъ. Ну, если ужъ не совсѣмъ такъ. . . всетаки вексель пе-

реписанъ и отсроченъ. До весны свобода — въ этомъ-то онъ правъ. А тамъ продадутъ картину, можно и на скачкахъ выиграть, мало-ли что. . .

Капа отлично знала эти глаза. Но теперь находилась въ размягченномъ состояніи. Изъ ея-же денегъ и розы. . . — «Всетаки, онъ очень ласковъ и внимателенъ.»

Анатолій Ивановичъ и дѣйствительно былъ ласковъ. Посидѣлъ немного и ушелъ, оставивъ ее въ сладкомъ отравленіи. Ядъ этотъ ей знакомъ давно — что сдѣлаешь противъ него? Жизнь какъ она есть — день въ кондитерской, одинокій вечеръ дома, синема разъ въ двѣ недѣли?

Но теперь нерѣдко спускалась она по лѣстницѣ съ сердцемъ полнымъ, бѣжала за уголь, въ калиточку дома Жаненъ. И случалось, подолгу засиживалась у Анатолія Ивановича — настолько долго, что мадамъ Жаненъ нѣсколько и смущалась. Впрочемъ, русскимъ законъ не писанъ. Да и самъ жилецъ такъ любезенъ. воспитанъ — ну пускай тамъ у него une petite amie — дѣло житейское.

Бывалъ и онъ у Капы. Не все съ цвѣтами, но всегда ласковый. Иногда водилъ ее обѣдать въ ресторанъ, ѣлъ устрицы, запивая виномъ, впадалъ въ фантазіи и разговоры. Капа и сама любила это. Изъ сумрачной своей, пещерной жизни, надѣвъ единственное выходное платье, попадала въ свѣтящуюся суматоху пестраго ресторана у Елисейскихъ полей. И будто сама мѣнялась. Подъѣзжали небольшія машины, иностранки съ молодыми людьми, блиставшими приглаженными приборами — не то это Америка, не то Испанія. Анатолій Ивановичъ тоже не весьма походилъ на русскаго.

Минутами ей казалось, въ смѣхѣ окружающихъ, блескъ стекла, запахѣ духовъ, что этотъ сидящій предъ ней человекъ дѣйствительно вдругъ увезетъ ее на острова Таити. Иногда же глядя на его перебѣгающіе, зеленоватые глаза, тонкую руку, держащую надъ столомъ граненый стаканъ съ виномъ — что вотъ онъ сейчасъ встанетъ, уйдетъ и не вернется — даже по счету не заплатитъ.

— Ты знаешь, Капочка, говорилъ онъ черезъ столъ, низко нагибая голову, быстрымъ, нѣсколько сумасшедшимъ шопотомъ: у меня тутъ есть одно такое дѣло, такое. . . Знаешь! Оно выйдетъ, я увѣренъ.

Онъ таинственно-утвердительно кивалъ головой.

— Я уже маршрутъ составилъ. До Марсея на автомобиль, самъ доведу. Тамъ на пароходъ. . . съ заходомъ въ Неаполь. Аэины — жара, красные маки на Акрополѣ. Капочка — потомъ острова Архипелага! Тамъ такіе закаты, павлиній хвостъ, и замѣчательное греческое вино. Я хочу именно съ тобой. . . да, ты понимаешь, любовь и красота. Я вѣдь не могу, я всегда теперь только о тебѣ думаю. . . вотъ такъ, знаешь, постоянно. Встану — ты со мной. Помолюсь — ты тоже.

— Ты молишься?

— Непремѣнно. Я вѣрующій. . .

Капа смотрѣла на него пристально. Потомъ отводила глаза. Они были полны — одновременно — смѣха и слезъ.

Когда онъ въ такси подвозилъ ее къ дому, когда подымалась она по лѣстницѣ, не могла понять, что это все значитъ: хорошо, или плохо. «Ну, все равно. Зато необыкновенное».

Раздѣвшись, долго не засыпала. «Я теперь ужъ не та. . . Не та дура, какъ тогда, въ домѣ Стаэле». Сейчасъ она взрослый и опытный, столько пережившій человекъ. Но и вотъ — стоитъ подойти, позвать, приласкать, и. . . вновь! Начинается. «Да, да, вновь, пусть такъ, хочу! Люблю, и мое дѣло!» — Она горячилась, и точно бы съ кѣмъ-то спорила. Мракъ-же комнаты этой, да и весь Парижъ — вся людская его пустыня совершенно были безразличны къ тому, сошлась ли вновь какая-то Капа съ какимъ-то Анатолиемъ Ивановичемъ, или нѣтъ.

— Ничего, ничего, пожалуйста, отвѣтила-бы ночная бездна. — Занимайтесь любовью, мнѣ все равно.

Такъ-же все было безразлично и тогда, когда въ жаркихъ мечтаньяхъ своихъ дошла Капа до воспоминаній — вотъ венгерка, которую онъ встрѣтилъ въ такомъ-же кабакѣ, изъ-за нея все и вышло. . .

Тутъ она вдругъ вскочила, съѣла на постели, впотѣмахъ схватила металлическую пудреницу, запустила въ потолокъ. Въ венгерку, всетаки, не попала.

\* \*  
\*

Генераль могъ-бы удивиться странному ночному звуку — удару небольшого предмета и паденію его — но не обратилъ вниманія, хоть и не спалъ. Именно тоже не спалъ, въ той-же зимней ночи, лежа на своей постели прямо надъ капиной головой (какъ и надъ его головой спалъ художникъ).

Генераль тоже думалъ, но совсѣмъ о другомъ. Вчера вечеромъ медленно подымался онъ къ себѣ по лѣст-

лицѣ — не безъ задумчивости, На первой-же площадкѣ остановился: передохнуть. Войдя въ переднюю, хлопнулъ дверь и какъ былъ, не снимая ветхаго пальтишки (зимнее въ чисткѣ), сѣлъ.

— Такъ та-ак-к-съ! Такъ. Такъ.

Посидѣвъ, пальто снялъ, снялъ и ботинки, надѣлъ туфли. Заложивъ руки за спину, привычно щелкая пальцами, принялся ходить взадъ впередъ по діагонали.

— Мерзость, больше ничего, говорилъ доходя до конца ея, и поворачивался.

Газетка, для которой собиралъ объявленія, съ нынѣшняго дня закрылась. Что въ этомъ удивительнаго? Скорѣе удивительно, что такъ долго вертѣлась. . . Генераль и не удивлялся. Отступление въ порядкѣ, съ охраною коммуникацій. На заранѣе подготовленныя позиціи.

— Мерзость, больше ничего!

Въ углу стояла литровая бутылка. Взявъ ее за горлышко, поболталъ. Полтинники жиденько зазвенѣли. Вотъ онъ, мощный валютный фондъ, на который Машенька должна пріѣхать! Подумавъ, генераль такъ опредѣлилъ положеніе:

— Временный отступательный маневръ съ переходомъ въ общее наступленіе, какъ только позволитъ обстановка.

И спокойнымъ движеніемъ вновь поставилъ бутылку. Прошелъ въ кухню. Тамъ взялъ другую, съ виномъ, налилъ полстакана и выпилъ.

— Богъ далъ день, Богъ дастъ и пищу.

Сварилъ макароны, поджарилъ свиной грудинки. сѣлъ обѣдать. Бѣлъ много и довольно бодро. Запивалъ



краснымъ виномъ. По временамъ вслухъ говорилъ — Богъ даль день, Богъ дастъ и пищу.

Или:

— Трах-тарарах-тах-тахъ! Колоннами и массаами!

Передъ сномъ записалъ въ дневникъ: «День важный. Можетъ быть, нѣчто и обозначающій. Лишился заработка. Но не унываю. Потерялъ родину, жену, не вижу дочери — это почище. Разумѣется, жизнь трудна. *La vie est dure*, сказала вчера торговка. Буду вышивать, раскрашивать сумочки, разносить конверты. Мало-ли что. Полковникъ Серебровскій служитъ ночнымъ сторожемъ, охраняетъ ювелировъ на Вандомской площади».

Всетаки, заснуть въ эту ночь было трудно. За всѣми словами и разумными разсужденіями стояло неразумное — самое сильное. Находилось оно будто вдали, а одновременно и вглуби. Невидимо, неслышимо. Тѣнь-же бросало. И эта тѣнь — какъ нѣкій ядъ отравляла воздухъ, которымъ мирно дышалъ онъ въ другія ночи. Въ нынѣшнюю ворочался, вставалъ, пилъ холодную воду съ чернымъ хлѣбомъ (собственное его средство отъ безсонницы), все-же слышалъ и каплю пудреницу, и бой часовъ въ недалекомъ жандармскомъ управленіи, и спускъ Лёвы по лѣстницѣ.

Утромъ зашелъ Рафа, спросить, пойдутъ-ли гулять. День хорошій, яркій, въ изморози. Розовѣющее небо въ садикѣ Жанена.

— Да, сказалъ генераль. — Пойдемъ. Въ три часа.

— Уже такъ рано?

— «Уже» можешь и не прибавлять. Да, въ три. Я сегодня не выхожу на занятія.

Рафа, спокойный и вѣжливый, неотступно глядѣлъ на него черными своими глазами.

— Почему?

— Потерялъ работу.

— Развѣ вы нехорошо собирали аннонсы?

— Нѣтъ, хорошо. Газета закрылась.

Рафа опять помолчалъ. Но что-то свое думалъ, за агатовыми глазами.

— Это плохо. Значитъ, вы *chômeur*?

— Да.

— Чѣмъ-же будете платить за квартиру?

— Постараюсь найти работу.

Рафа ушелъ задумчивый. Въ два часа вновь явился. Въ рукѣ у него была узенькая коробка съ шоколадными дисками, завернутыми въ серебряную бумагу.

— Это мнѣ вчера тетя Фанни привезла. Дарю вамъ отъ всей души. Я такого шоколада терпѣть не люблю.

Генералъ захохоталъ.

— Ловкій ты, братецъ мой... А если-бы самому нравился, такъ и не подарилъ бы?

— Вамъ-бы подарилъ.

— Но ужъ не отъ всей души?

Рафа улыбнулся, сталъ подавать ему пальто. И черезъ минуту вновь спускались они по улиткообразной лѣстницѣ своего пассійскаго дома.

Эти прогулки всегда одинаковы. Шли по *rue de la Rotonde*, мимо Испанской церкви и русской съѣстной лавки — за витриною балыки, икра. Быстрые автобусы лавировали между каміонами и такси. Рафа жался къ генералу, когда совсѣмъ рядомъ проносилась, съ теплымъ запахомъ масла и бензина, такая смерть. Они встрѣчали элегантныхъ, чуть подсушенныхъ пассій-

скихъ дамъ, съ собачками или безъ нихъ и со всегдашней, всегда одной и неизмѣнною волной духовъ (и въ что прохладное, не романтическое). Попадались худенькіе молодые люди съ книжками, въ роговыхъ очкахъ, съ чудно заглаженными назадъ волосами — вѣчные типы французскаго юноши, которому весной сдавать башо.

— Меня мама на будущій годъ отдастъ въ Жансонъ, говорилъ Рафа. Я одѣну беретъ. . .

— Не одѣну, а надѣну.

— Хорошо, надѣну. Но какая разнища?

Генераль объяснилъ.

Подошли къ Мюэттъ. Въ кафе за столиками любители тянули аперитивы — несмотря на ранній часъ. Двухмѣстныхъ машины скользили въ Булонскій лѣсъ. Въ нихъ за рулемъ сидѣли старшіе братья, или дядя юношей изъ лица Жансонъ — тѣ-же гладкіе волосы и роговые очки, но на сорокалѣтнихъ. Дамы, тѣхъ-же духовъ, всегда много моложе.

Въ паркѣ Мюэттъ уже много нянекъ съ дѣтьми въ колясочкахъ, мамашъ съ младенцами, играющихъ ребятъ постарше. Тутъ обычно садился генераль на скамеечку, смотрѣлъ на зеленую лужайку со статуей, на игры, на голоногихъ мальчугановъ съ мячами, на аккуратныхъ французскихъ старичковъ съ почетнымъ легиономъ, догуливающихъ послѣдніе свои деньки подъ холодѣющимъ парижскимъ солнцемъ.

— Котикъ, говоритъ дама сыну: что ты все по французски. Скажи просто по русски: «папá прибудетъ въ поль-шестого».

Генераль къ этому привыкъ. Да и всѣхъ мамашъ не переучишь. Одесса, Кіевъ останутся. Онъ сидѣлъ на

скамейкѣ, опираясь на палку, глядѣлъ на вѣчный водоворотъ этой жизни — молодой и старой, французской и русской. Найдеть-ли онъ работу или нѣтъ, умретъ ли въ своей квартиркѣ на рукахъ Машеньки, или полуголоднымъ старикомъ въ госпиталѣ Кошенъ — все будетъ такъ-же пестро, весело и грустно на этой лужайкѣ. Такіе-же дѣти, дамы, старики съ красными бугоньберками, автомобили преуспѣвающихъ. И все такъ-же будутъ спускаться и подыматься жильцы по лѣстницѣ дома въ Пасси. «Ничего, ничего, все какъ полагается. Не удивляюсь. Законы мірозданія. И не удивляюсь, когда Рафаиль вырастетъ, приметъ французское подданство, будетъ служить въ колоніяхъ, окончательно забудетъ русскій языкъ.»

Будущій колоніальный дѣятель какъ разъ подбѣжалъ къ нему. Онъ покраснѣлся, слегка вспотѣлъ, черная прядь волосъ локономъ выбилась изъ подъ шапочки.

— Тамъ такой паршивый мальчишка одинъ... все неправильно играетъ.

— Рафаиль, сказалъ генераль: ты когда большой вырастешь, будешь меня помнить, или нѣтъ?

— Да... Да я и довольно скоро вырасту. Вы знаете, въ понедѣльникъ мое рожденіе! Ахъ, да, забылъ! Мама просила васъ непременно къ намъ. Будутъ гости. Я ожидаю довольно много подарковъ.

\* \*

\*

О томъ, что генераль потерялъ работу, въ домѣ узнали быстро. Всѣ — за исключеніемъ Женевьевы.

Та жила въ другомъ мірѣ, ни съ кѣмъ, ни съ чѣмъ не сливавшемся. Женева знала, что всюду дѣла теперь идуть хуже — въ томъ числѣ и ея собственныя. Нѣкоторыя товарки уѣхали въ деревню, мѣнять промысль. Вообще-же ей ничто не интересно. И въ самомъ домѣ пассійскимъ существуетъ лишь лѣстница, по которой аккуратно спускается и подымается она ежедневно.

Лёву тоже не очень занималъ генераль. Онъ велъ свою сѣрую и тяжелую жизнь за рулемъ. Но съ дружелюбіемъ взглянулъ на Валентину Григорьевну, на лѣстницѣ сообщившую ему новость. «Со взбитыми сливками», опредѣлили про себя блондинку, сочувственно и почти завистливо. «Эхъ, проклятая жизнь!»

Шалдѣевъ самъ сидѣлъ безъ работы: кончилось даже рисованіе порнографическихъ открытокъ для таинственнаго издательства.

Капа задумалась.

— Дуся, говорила ей Валентина Григорьевна. — Михаилу Михайловичу вѣдь будетъ трудно. Ахъ, знаете, со всѣхъ сторонъ такое слышишь. . . Та дамочка кутюръ закрыла, эта ищетъ гдѣ-бы фаммъ де менажъ замѣнять. А вѣдь онъ въ общемъ старенькій. . . знаете, куда-жъ ему. . .

— Трудно, конечно. Спрошу на службѣ, можетъ, что по счетоводству.

Наиболѣе серьезно отнеслась Дора Львовна.

— Нѣтъ, надо искать. Такъ онъ пропадетъ. Надо искать.

Ея честная голова заработала.

## ПРАЗДНИКЪ

Изъ всѣхъ квартиръ пассійскихъ дорина содержалась наилучше, и сама Дора Львовна считалась жилищею солидной. То, что снимаетъ она меблированное помѣщеніе, объяснялось (среди лавочниковъ и консьержекъ) надеждой на скорое возвращеніе въ Россію. «Oh, c'est une femme de bien», говорили въ околоткѣ. «Elle sait vivre». Въ комнатахъ у нея порядокъ и чистота («какъ у французовъ»), ковры хорошо выбиваются и on fait très bien l'aération de draps. Фаммъ де менажъ каждый день, по четыре часа. Madame хорошо зарабатываетъ, за квартиру платитъ минута въ минуту, и у ней текущій счетъ въ Ліонскомъ Кредитѣ. «Oh, elle est brave, celle dame-ci.»

Это мнѣніе было довольно справедливо — отъ шума революціонной молодости, богемскаго бытія прежнихъ лѣтъ мало что уцѣлѣло у Доры Львовны. Теперь она любила порядокъ, культуру, буржуазность.

И рафино рожденіе рѣшила отпраздновать попараднѣе (кстати — и отвѣтить нѣкоторымъ кліенткамъ. «поддержать отношенія».)

Несмотря на всегдашнюю чистоту, полъ лишній разъ натерли. У Валентины Григорьевны пришлось подзанять чашекъ, стульевъ, у Капы табуретку — получалось пестровато, но ничего не подѣлаешь, «на чемъ нибудь сидѣть надо». Мадамъ Мари, высокая, веселая прачка съ краснымъ лицомъ, всегда въ подпѣтѣ, принесла огромную ослѣпительную скатерть, парадную, для раздвигаемаго стола. Узнавъ, что Рафа рожденникъ, хриповатымъ баритономъ поздравила его.

Завтракали въ кухнѣ. Къ двумъ часамъ столовая приняла боевой видъ, готовая для отраженія атакъ: два букета на каминѣ, бѣло-крахмальная скатерть до полу (подъ ней ножки стола связаны накрестъ; чтобы не расползался). Торты, варенья, конфеты. На небольшомъ столикѣ у окна ровный строй чашекъ.

Недоставало только вина. Дора сама не пила, но для такого случая вино необходимо. Захвативъ клеенчатый черный сакъ, отправилась въ виноторговлю. «Чего нибудь сладкаго возьму», думала, входя въ просторное и свѣтлое помѣщеніе съ зеркальными стеклами, со сложнымъ наборомъ винныхъ бутылокъ по полкамъ — точно это выпивательная библіотека.

Завѣдующій разговаривалъ съ посѣтителемъ. Дора подходитъ. Анатолій Ивановичъ обернулся, кланяется. На немъ просторное пальто. Съ худощаваго, тщательно-выбритаго лица глядятъ ласково-зеленые глаза. Галстухъ бабочкой, складка брюкъ безупречна.

— Пожалуйста. Я . . . я успѣю!

Дора Львовна мало его знала — изрѣдка встрѣчала на лѣстницѣ.

— Vous desirez, madame?

— Deux bouteilles de Grave... Дора запнулась. Дальше «грава» женская фантазія ея не шла.

— Если вы хотите блага бордо, то у нихъ тутъ есть отличное... и на ту-же цѣну.

Анатолій Иванычъ оживился, глаза его блеснули.

— Château Loupiac.

Дора усмѣхнулась.

— Извольте. Я ничего въ этомъ не понимаю.

Анатолій Иванычъ какъ будто немного смутился.

— Я вѣдь тоже... я не то чтобы какой-нибудь знатокъ. Но все-таки беру здѣсь вино нерѣдко.

— Тогда помогите мнѣ выбрать.

Дора Львовна считала все, связанное съ виномъ, несерьезнымъ — вродѣ картежной игры. Но разъ нынче праздникъ и пьющіе существуютъ, мудрить нечего.

Красавецъ-завѣдующій дважды спускался въ погребъ. Дора дала стофранковку и получила немного сдачи.

— Вы будете довольны, говорилъ Анатолій Иванычъ, придерживая клеенчатый сакъ, пока завѣдующій укладывалъ въ него бутылки.

— Лупіачекъ не выдастъ. И анжу тутъ хорошее. А вотъ эту бутылочку, Grâne Cantenac... зря не пускайте въ ходъ. Да? Онъ засмѣялся. — Придерживайте ее! И только понимающему.

Сакъ оказался переполненъ.

— Позвольте, я помогу... донесу.

Онъ довель Дору до дому, поднялся по лѣстницѣ.

— Большое спасибо, вы такъ добры. Сегодня день рожденія сына, заходите... Кстати и попробуйте сами... Какъ это вы назвали? — Бранъ, бранъ...



Дора совсѣмъ весело разсмѣялась. Сложныя названія винъ, дегустаторы, о которыхъ успѣлъ рассказать Анатолій Ивановичъ. . . совсѣмъ несерьезно. «Но во всякомъ случаѣ онъ очень любезенъ. И вообще приличенъ.»

\* \*  
\*

Атаки развивались нормально. Первые гости обнаружены были часа въ три. («Манера рано приходиться! Только что успѣла убраться»). Но отворяя на звонокъ. Дора уже привѣтливо улыбалась. Да и правда, теперь беспокоиться нечего: все на своихъ мѣстахъ, машина заработала. Ранній-же гость настроенъ скромно, самъ немножко смущенъ — не слишкомъ-ли ретиво разбѣжался? — и спѣшитъ отыгрываться на подаркахъ.

— Тутъ вотъ тебѣ, Рафочка, маленькая забава. . .

Рафа подарки принималъ любезно, но и сдержанно: не виновать молъ, что нынче рожденіе. Къ сладостямъ относился и вовсе равнодушно.

Змѣй, заводной поѣздъ, альбомъ для марокъ занимали больше.

— Рафа, ты даже не поблагодарилъ Розу Марковну. . .

— Ахъ, что вы, Дорочка, такіе пустяки!

Въ кухнѣ — мадамъ Бельяръ, худая, черноволосая католическая менажка (къ каждому слову прибавляетъ: «Жезю, Мари!»). Дора не ослабляетъ вниманія: тому торта, этому пирога, подлить чаю. Главное, чтобы хватало посуды. Рафа въ чистенькой курточкѣ, съ безукоризненнымъ отложнымъ воротничкомъ — не

такъ особенно охотно, все-же повинуется: носить отработанные чашки, блюда изъ подъ варенья въ кухню. А мать пускаетъ уже въ ходъ банюльсь, разливая по рюмкамъ: у дамъ онъ успѣхъ имѣеть.

Въ пятомъ часу народу понабралось. Стульевъ еще хватало. Основная-же позиціи заняты. Становилось ясно, что дальнѣйшихъ гостей придется или сажать на сѣмье, или сплавлять къ Рафѣ. Но его комната — вродѣ игрушечной лавки.

Разговоры разнообразны. Веселая и нарядная барышня говорить сосѣду:

— Моя специальность рѣдкая: мою, стригу собакъ.

— Никогда не сказала-бы. . .

— Занятіе не изъ блестящихъ, но надо тоже умѣть. Брала уроки, на такихъ собачьихъ курсахъ. Клиентки у меня больше иностранки.

Лева наливаетъ вторую рюмку банюльсу Валентинѣ Григорьевнѣ, слегка раскраснѣвшей.

— Вы, Левъ Николаевичъ, и представить себѣ не можете, какія эти дамочки капризные. Я никогда не буду говорить о женщинѣ, пока не увижу, какъ она примѣряетъ платье.

. . . — Когда мы пуделей моемъ, то опустишь его въ воду, только носъ и лобъ чтобы наружи остались. И всѣ насѣкомыя, которыя на немъ — сюда на сухенькое и собираются. . . ха-ха-ха. . . тутъ съ ними разговоръ короткій.

— Да, видно, что вы своимъ дѣломъ какъ слѣдуетъ заняты.

— Я сегодня въ хорошемъ настроеніи. Видѣла во снѣ, что купаюсь въ морѣ.

— ?

— Ужъ такъ знаю. Если сонъ, что въ морѣ купаюсь, значитъ не сегодня завтра будетъ хорошая собака для мытья.

... — Сложена, знаете, такими колбасами, прямо опара. Аншь у нея сто два, это еще ничего, но, извиняюсь, груди... и шея... въ общемъ требуетъ, чтобы къ шеѣ все воротничекъ прилаживать, и имъ були прикрывать на этихъ мѣстахъ (показываетъ на плечи). Не женщина, а пробка.

Лева катаетъ шарикъ.

— Да, разумѣется, у каждой профессіи свои конвенціи. У насъ тоже, смотря какого кліента шарженешь.

— Дора, Дора! кричала изъ рафиной комнаты тетя Фанни, только что подарившая племяннику маленькую рулетку. — Поди сюда, объясни мнѣ, сдѣлай милость, что это за портреты у него понавѣшены?

Тетя Фанни, полная нервная брюнетка на короткихъ ножкахъ, говорила вообще безъ умолку. Торопилась, волновалась, сама себя перебивала и вѣчно была въ возбужденіи.

— Ну, онъ у тебя очаровательный. Но скажи пожалуйста, ты его въ монахи готовишь?

Дора Львовна находила, что Фанни слишкомъ истерична. По лицу ея прошла тѣнь.

— Въ какіе монахи? Что ты такое говоришь?

— Ну, посмотри, что у него надъ кроватью развѣшено... тутъ всякіе игумены и митрополиты.

Рафа, дѣйствительно, вырѣзаль изъ газетъ и вообще откуда попадетъ изображенія духовныхъ лицъ и прищипливалъ у себя надъ постелью. Кромѣ патріарха Тихона тутъ висѣли митрополиты Владиміръ Петер-

бургскій, Евлогій, даже Сербскій Патріархъ. . . Дора Львовна не особенно это одобряла, но мѣръ не принимала: стояла за свободу въ воспитаніи.

— Ему такъ нравится, сказала съ холодкомъ.

— Нѣтъ, да ты посмотри, сколько ихъ тутъ!

— Ему даетъ уроки одинъ бывшій генераль, нашъ сосѣдь. Это, конечно, его вліяніе. Вотъ и теперь онъ вознакомился тамъ съ однимъ монахомъ. Я забыла имя. Такое извѣстное, но странное.

Рафа имѣлъ нѣсколько недовольный видъ. Онъ не любилъ, чтобы мѣшались въ его дѣла.

— Его зовутъ Мельхиседекъ.

Фанни хлопнула себя по толстымъ ляжкамъ.

— Мельхиседекъ! Да это прямо откуда-то изъ святого писанія!

Рафа мрачно посмотрѣлъ на нее.

— Мельхиседекъ былъ царь Салимскій, или иначе иерусалимскій. . .

— Ну, такъ я-же и говорила, что ты его въ семинарію готовишь.

Въ это время на порогъ показался Анатолій Ивановичъ. Онъ улыбался всѣмъ длиннымъ, изящнымъ своимъ ртомъ. Глаза блестѣли и отсвѣчивали. Въ рукахъ держалъ онъ мачтовый корабль, очень тщательно сдѣланный. Увидѣвъ Рафу, протянулъ ему его.

— На память. Моего собственнаго издѣлія. Изъ бортовъ глядятъ пушки. Англійскій фрегатъ восемнадцатаго столѣтія.

\* \*

\*

Первая партія гостей схлынула. Появилось даже нѣсколько свободныхъ мѣстъ. И наступалъ часъ, когда хозяйка не безъ ужаса думаетъ: «ну вотъ, кто теперь подойдетъ, навѣрно останется ужинать».

Въ это именно время къ подъѣзду подкатила коричневая машина съ сѣро-серебристыми дисками колесъ. Изъ нея легко выпрыгнула Людмила. Не такъ легко Олимпиада Николаевна и совсѣмъ трудно, переваливаясь ожирѣвшимъ тѣломъ, Стаэле.

— У Доры подъемника нѣтъ, мы съ вами попытимъ, сказала Олимпиада Николаевна. — Да можетъ быть, это и полезно. Вы знаете, насъ Дора массируетъ, а въ сущности, если-бъ поменьше денегъ — это у васъ, у васъ! — мнѣ всегда не хватаетъ, да побольше пѣшкомъ-бы ходить, такъ мы и Дорѣ доходовъ-бы не доставляли.

— Если... пѣшкомъ х-ходить, я бы просто... попогибла-бы...

Говорила «мы» Олимпиада изъ любезности. Ее никакъ нельзя сравнить со Стаэле. Высокая и бѣлотнолая, нѣсколько полная, она стройна и могущественна. Надѣтъ корону, дать въ руку мечъ, облокотить на щитъ — была-бъ «Россія» дореволюціонной иллюстраціи. Правда, нѣсколько лѣнивая. Правда, слишкомъ любила сласти. И нѣкую часть жизни проводила въ борьбѣ между опасеніемъ располнѣть окончательно, и искушеніями ѣды. Въ этой борьбѣ и помогала ей Дора.

Появленіе грацій, сразу наполнившихъ собою (и подарками) прихожую, Дору не испугало. Напротивъ. Очень мило съ ихъ стороны, что несмотря на разницу средствъ и общественныхъ положеній, все-же заѣхали. Прямо мило.

Стаэле красѣла, и кивала привѣтливо — направо, налѣво. Ей дали стулъ изъ квартиры Валентины Григорьевны, особенно прочный, и засадили за торть. Она люкорно ѣла. Все это — русское, значить, необыкновенное. Рядомъ съ ней оказался генераль («бывшій командующій арміей», шепнула Дора) — тоже необыкновенное. Олимпіада Николаевна задержалась въ дверяхъ съ Анатоліемъ Иванычемъ. Людмила подѣла мѣ Капѣ, мрачно допивавшей чай.

Дора-же Львовна, сквозь шумъ гостей, стрекотъ Фанни, подхохатыванье Валентины, засѣвшей съ Левой въ рафину комнату, не теряла мыслью генерала. Вотъ онъ сидитъ, со своими бѣлыми усами, въ бѣдно-приличномъ костюмѣ... А ѣсть то ему, собственно, нечего. Что-то надо для него сдѣлать.

— Давно не видать васъ, говорила Олимпіада Николаевна Анатолію Иванычу. — Вѣрно разбогатѣли. Ни картинъ не несете, ни жемчуговъ.

— Какъ-то все не приходится, я собираюсь...

— А вѣдь дѣло можетъ выйти.

Глаза Анатолія Иваныча приняли нервно-вопросительное выраженіе. Но какъ разъ тутъ попался онъ взору Стаэле.

— Мсье Анатоль! Мсье Анатоль!

Стаэле благодушно сіяла. Двинувшись къ ней, перехватывая сумрачный взглядъ Капы, вдругъ ощутилъ онъ безпокойство. Но — лишь минутное. Не впервые находился въ смутномъ положеніи.

— Вы уже, уже здѣсь? спросила Стаэле, когда онъ подошелъ.

— Д-да.

— Онъ недавно съ юга вернулся, громко сказала черезъ столъ Капа.

Анатолій Иваннычъ обернулся, посмотрѣлъ на нее внимательно. Капа нагнулась къ Людмиль.

— Я ей тогда наврала, что онъ боленъ, что ему надо поправляться въ санаторіи подъ Ниццей. . . Онъ даже не собрался къ ней зайти поблагодарить за деньги.

Людмила усмѣхнулась.

— Ну, теперь наговорить сколько угодно.

Она не такъ далека была отъ истины. Анатолій Иваннычъ быстро ориентировался. Явно, онъ больной, нервное переутомленіе, жилъ подъ Ниццей, у одного доктора. . . онъ и врача назвалъ не запнувшись. Оглядѣвъ участокъ стола вблизи, замѣтилъ бутылку лупіажа. Легкимъ жестомъ налилъ стаканчикъ для Стаэле. Себѣ — рюмку коньяку — и совсѣмъ укрѣпился.

— Санаторія эта надъ городомъ, знаете, въ Сіміез. . . (о такой санаторіи онъ слыхалъ раньше — сейчасъ ему стало почти казаться, что и онъ тамъ былъ). У меня окно прямо выходило на Корсику. Я вамъ безконечно благодаренъ, madame, вы меня такъ выручили. . .

Онъ вдругъ взялъ, тѣмъ-же привычнымъ жестомъ, какъ бутылку, ея руку, и поцѣловалъ. Стаэле не ожидала — слегка смутилась. Онъ не выпускалъ руки, все улыбался.

— Когда былъ у васъ шофферомъ, никогда въ Ниццу мы не ѣздили. Прекрасный городъ. Въ немъ такая широта, разверстость. . . Недѣли черезъ двѣ какъ поселился въ санаторіи, я ужъ спускался внизъ, въ старый городъ. Очаровательна смѣсь Италіи, Прованса, Франціи. . . и древней Греціи, а можетъ быть, и Фи-

никии.

— Фи-Финикии. . . — Стаэле съ удивленіемъ подняла на него глаза.

— Все побережье было нѣкогда греческой и финикійской колоніей.

Людмила вынула дорогую папиросу, закурила.

— Далекѣ заѣдетъ. Ну, а ты, скажи пожалуйста. . . — она придвинулась къ Капѣ. — какъ съ нимъ? Все прежнее?

Капа опустила глаза.

— Ты-же его видишь, знаешь. . .

— Я нахожу въ особенности отголосокъ древности въ типѣ ниццской женщины. Увѣренъ, что это греко-финикійское. А какая прелесть платаны, зеленая темнота улицъ, маленькіе ресторанчики. Если-бы мы заѣхали въ Ниццу, я повелъ-бы васъ въ такую удивительную *gâtisserie*. . . въ закоулкахъ стараго города.

Стаэле обратилась къ генералу.

— Р-русскіе всегда любятъ по-этическую сторону ж-жизни. Не правда-ли? И еще: гдѣ бы они ни путешествовали, всегда по-омнятъ, гдѣ какое вино.

Генераль пришелъ къ Дорѣ не въ особно веселомъ настроеніи. Скорѣе даже былъ мраченъ. (Рафѣ подарилъ старинную гравюрку — видъ Кремля. Тотъ сейчасъ-же прикрѣпилъ ее надъ постелью, рядомъ съ митрополитами). Но потомъ шумъ, оживленіе, вино нѣсколько его развлекли. И теперь онъ даже съ извѣстнымъ доброжелательствомъ разглядывалъ свою многотѣлесную сосѣдку.

— Совершенно правильно насчетъ вина. Что-же касается поэтической стороны, то, конечно, многіе русскіе къ этому склонны — если позволяютъ обстоятель-



ства. А ежели въ карманѣ одинъ свистъ, то, извините, тутъ и не очень до поэзіи. Больше думаешь, какъ бы съ голоду не подохнуть.

Стаэле изобразила на раскраснѣвшемся лицѣ сочувствіе тому, какъ непріятно подыхать съ голоду.

Нагнувшись къ Олимпіадѣ, Дора шепнула:

— Видите старика рядо́мъ со Стаэле? Это генеральодинъ, надъ нами живеть, пріятель Рафы и кое чему его учить.

Олимпіада взяла лорнетъ, и волоокими, нѣсколько выпуклыми глазами стала разсматривать генерала — спокойно, почти безцеремонно.

Дора-же Львовна толково, какъ все вообще дѣлала, объяснила ей, что генераль безработный и его надо куда нибудь приткнуть. При ея знакомствахъ, связяхъ. . .

— Человѣкъ онъ прошлаго времени, но почтенный. Рафаиль мой его обожаетъ.

Олимпіада опустила лорнетъ.

— Представьте его мнѣ. А тамъ посмотримъ.

\* \*

\*

Лева провелъ время около Валентины Григорьевны неплохо. Они переговорили о разныхъ интересныхъ вещахъ, главное-же было интересно то, что у Левы красивые сѣрые глаза, несмотря на грубоватую профессію онъ сохранилъ отгѣнокъ изящества, и «чистенько одѣтъ». Валентина Григорьевна полновата, пріятна. Въ бодрой, веселой ея натурѣ заложены уже нѣкіе отгѣты. . . Лева, нѣсколько блѣдный, съ напряженными глазами, проводилъ ее до площадки, поцѣловаль руку.

— Въ общемъ, будемъ видаться? сказала Валентина Григорьевна. — Онъ слегка задохнулся.

— Съ великимъ удовольствіемъ.

«Настоящій мужчина», не безъ нѣкоторой внутренней дрожи подумала Валентина, входя къ себѣ.

Внизу-же, у Доры, все протекало нормально. Мадамъ Бельяръ мыла чашки исправно, тортовъ хватило, ихъ хвалили. Вина тоже достаточно. Въ восьмомъ часу главныя силы противника отступили. Неожиданныхъ атакъ не оказалось.

Людмила не поѣхала съ Олимпіадой Николаевной — зашла къ Капѣ.

Безъ четверти восемь столовая представляла такой видъ: неубранныя чашки, кое гдѣ пепелъ на мочу-чей скатерти, объѣдки сладкаго на блюдечкахъ, нѣсколько недопитыхъ бутылокъ, усталый синеватый отъ папиросъ воздухъ и разнокалиберные стулья въ безпорядкѣ. Среди всего этого прочно засѣлъ у вина Анатоій Иванычъ.

— Вы довольны? спросилъ онъ Дору. — Сегодняшнимъ днемъ?

Дора собирала блюда. (Рафа, у себя въ комнатѣ, приводилъ въ порядокъ сокровища).

— Кажется, было оживленно.

Она остановилась, подняла руку, пальцами другой руки стала застегивать на рукавѣ пуговку. Лицо ея разрумянилось. Черная прядь выбилась на вискѣ, темные, какъ у Рафы, глаза внимательно слѣдили за движеніями пальцевъ. Грудь сильно выдавалась впередъ. И какъ всегда, здоровьемъ, свѣжестью, безукоризненной чистотой отъ нея вѣяло.

Анатоій Иванычъ пристально смотрѣлъ на нее.

— Выпейте со мной рюмку порто.

— Я не пью.

Онъ всетаки налилъ. Дора застѣгнула, наконецъ, непокорную петлю.

— Я думаю, что такая какъ вы должна все дѣлать разумно и удачно.

— Вотъ какъ!

— Если пріемъ, такъ ужъ пріемъ... у васъ непременно удастся.

— Пить неразумно, а нынче ужъ выпью. Ладно!

Они чокнулись.

Дора сама удивилась, почему это выпила? Но вино пріятно подѣйствовало. Дора неожиданно улыбнулась. Анатолій Ивановичъ отвѣтилъ, съ нѣскольکو страннымъ, инымъ выраженіемъ глазъ. «Глаза-то у него во всякомъ случаѣ красивые...»

И она нѣкоторое время смотрѣла прямо на него, упорно.

Тѣмъ же легкимъ, точнымъ движеніемъ какъ со Стаэле, не отводя отъ нея взора, взялъ онъ ея руку и поцѣловалъ. Потомъ поднялъ свой стаканъ вина.

— За васъ пью, и васъ цѣлую.

Онъ опять, дѣйствительно, цѣловалъ ея руку, со страннымъ и абсолютнымъ упорствомъ, точно это его собственность. Она мутно на него смотрѣла. Она попыталась было отдернуть руку. Но онъ слишкомъ хорошо зналъ этотъ молчаливый, бессмысленный женскій взглядъ.

И обнялъ ее.

\* \*

\*

Въ это время Людмила сидѣла у Капы и курила. Капа лежала на постели.

— Я считаю возмутительнымъ, что онъ опять съ тобой волюнку разводитъ.

— Отстань, глухо сказала Капа.

— Ну да, опять Константинополь. Какъ угодно. Нѣтъ, больше не переносу сердечныхъ исторій. Да и некогда! Работаешь какъ чортъ, а дѣла все хуже. Знаешь, нашъ кутюръ вотъ вотъ и закроется.

Она вытянула стройныя ноги въ шелковыхъ чулкахъ.

— Американки ничего не заказываютъ. А кто закажетъ, норовитъ не платить. Да, конечно дѣло: бросаю. На содержаніе идти не хочу. . . — она вдругъ разсмѣялась холодноватымъ смѣхомъ: да и трудно. Конкуренція велика. — Тутъ, одно занятіе себѣ присмотрѣла.

— Людмила, помнишь, мы съ тобой разъ въ Босфоръ броситься собирались, связавшись. . .

— Помню, и вспоминать не хочу.

— Да, конечно. . .

Капа ничего больше не сказала. Продолжала лежать. И Людмила молчала. Потомъ встала, нагнулась къ ней, обняла.

— Сумасшедшая ты. Всегда была сумасшедшая.

Капа заплакала.

## ДѢЛА

Холодно. Городъ въ рыжемъ туманѣ. Едва видно солнце — изъ другого міра — блеклое, розовато-кирпичное. Угольщики не успѣваютъ встаскивать мѣшки по винтообразнымъ лѣстницамъ. Мрутъ немолодые французы отъ удара. Особенно полны бистро — лицами багровыми, шарфами, каскетками. Вечеромъ, въ синѣющей мглѣ, туманны огни и страшны на заиндевѣломъ асфальтѣ автобусы, грозной судьбой проносящіяся.

Городъ Парижъ дымить всѣми глиняными трубами надъ черепицами крышъ — не надымится. Холодно людямъ старыхъ домовъ, среди нихъ и дому въ Пасси, русскому. Лишь у Доры Львовны тепло вполнѣ: двѣ саламандры. У Валентины Григорьевны полутепло (мать завѣдуетъ топкой). У Капы на четверть тепло (послѣ службы затапливаетъ крохотную печурку). О генералѣ и Левѣ лучше не говорить: одному не на что, другому некогда. Анатолій Ивановичъ протапливаетъ послѣднія стаэлевскія деньжонки.

Несмотря на холодъ, много выходитъ. Правда, у не-

го теплое пальто со скунсовымъ воротникомъ, гетры, плюшевая шляпа. Это для теплоты и удобства. А для солидности палка съ серебрянымъ набалдашникомъ. Оба Жанена — и жена съ бѣлыми буклями, бархатной на шеѣ, и худенькій старичекъ въ старомъ жакетѣ и туфляхъ уважають его за скунса, за трость, за любезность. «Это большой русскій баринъ», говоритъ мсье Жаненъ угольщику. «У него въ Россіи огромныя помѣстья. Временно ему трудно. . . но вѣдь революція; Впрочемъ, у него есть богатые родственники въ Швеци. Ему присылають деньги изъ Стокгольма».

Въ одинъ такой день ѣхалъ Анатолій Ивановичъ въ первомъ классѣ, Женевьева во второмъ у окна, ея лѣвой ногой мѣшала овальный кожухъ колеса. Передъ его глазами торчала на высотѣ шофферъ въ кожаной курткѣ съ шарфомъ на шеѣ и обгорѣлымъ отъ холода лицомъ. Предъ ней, за дамой, покачивались на площадкѣ пассажиры. Ни онъ ее не замѣтилъ, ни она его. Оба, однако, дышали однимъ воздухомъ: смѣсью бензина съ духами. Автобусъ мягко покачивался, дрожалъ масляно-бензиннымъ сердцемъ.

Какія мысли у Женевьевы? Никакихъ. Иной разъ взглянетъ на фасонъ шляпки, на собачку съ давленою мордочкой. . . ждетъ остановки у Мадленъ. И Анатолій Ивановичъ не рѣшалъ мировыхъ вопросовъ, когда по авеню Габріэль мчалъ его автобусъ мимо ресторановъ Елисейскихъ Полей, мимо скверовъ, садовъ, мимо дома на лѣво, единственнаго въ Парижѣ, чей фасадъ въ колоннахъ, какъ въ русской усадьбѣ. Можетъ быть, вспоминалъ губы Доры Львовны и бессмысленный ея взглядъ — столько взглядовъ за жизнь, столько губъ! Или думалъ о Капѣ: «Капочка отличная, но тяжелый

характеръ. . .» Тоже не рѣдкій случай. Дора очень славная, хорошо, что разумная, и не психопатка. Все это мило и симпатично, и никакъ жизнь не устраиваетъ.

Онъ слѣзъ. Женевьева поѣхала дальше — тонкое и равнодушное ея лицо до самой Оперы покачивалось за стекломъ. Онъ-же шелъ медленно мимо Вебера международнаго, мимо *Taverne Royale*.

Передъ фасадомъ Мадленъ поглазѣлъ, по обычаю, перешелъ улицу, когда полицейскій остановилъ потокъ автомобилей, и бессмысленно пошелъ вдоль лѣвой стороны храма. Въ небольшую дверь съ навѣсикомъ на тротуаръ вошли двѣ дамы. Старушка въ черномъ вышла. «Капелла Антонія Падуанскаго!»

Онъ когда-то слышалъ о ней. «Хорошій былъ Падуанскій. . . съ мальчикомъ всегда изображается». Анатолий Ивановичъ вдругъ почувствовалъ себя смиреннымъ и маленькимъ. Вотъ, у него этотъ мѣховой воротникъ, трость, десять франковъ въ карманѣ, комбинаціи въ головѣ и неизвѣстность на завтра. А въ прошломъ? Тоже, можетъ быть, лучше не вспоминать? Но для такихъ и жили Падуанскіе. Если-бы всѣ были добродѣтельны, то и святѣни-бы не надо.

Изъ низенькой передней повернулъ онъ направо — тоже низенькая, узкая и длинная комната со сводами. Горитъ много свѣчей. Стоять стульчики. Сразу-же слѣва — розовый св. Антоній на пьедесталѣ съ младенцемъ Иисусомъ на рукахъ (это и есть «съ мальчикомъ»). Яичко золотое. Цвѣты, медальки, образки — вся нехитрая бутафорія католицизма. Въ стѣнахъ плитки съ надписями: «*remerciements*». Анатолий Ивановичъ по православному перекрестился и неловко сталъ пря-

мо противъ розоваго Антонія, загораживая дорогу. Чувство дѣтскости, смиренности и ничтожества возрасло. «Ты вѣдь знаешь, какой я, и что. . . помоги, святой Антоній, вотъ я къ тебѣ всюю душой. . . Помоги».

Что имѣлъ онъ въ виду? Удачную продажу? Выгодную женитьбу? Возможно. Розовая статуя святого много передъ собой перевидала. Ничтожеству-ли, слабости-ль человѣческой удивляться? И можетъ быть, не весьма огорчился святой малому обращенію чело-вѣка въ катакомбной криптѣ.

\* \*

\*

Въ эти-же самые часы Женевьева работала съ той безсознательной добросовѣстностью, которая одинакова: въ ней, въ барышнѣ за прилавкомъ, дактило за машинкой. Она знала, что вялое свое, гибкое тѣло съ плавными бедрами надо въ нѣкоторые часы выстав-лять — какъ на рынкѣ овощи, фрукты, рыбу. А для этого слѣдуетъ дѣлать круги по бульварамъ, съ видомъ независимо-горделивымъ: дама, вышедшая за покуп-ками. Потомъ, по неписаному закону, зайти въ кафѣ (здѣсь уже аллюромъ миссъ Вселенной). И надъ чаш-кою кофе сидѣть долго, въ безразличіи оцѣпенѣнья. Впрочемъ, переводя взоръ по посѣтителямъ. Старикъ изъ провинціи, съ красными жилками на лицѣ, пьюще-му у окна витель — загадочно улыбнуться. Начать флиртъ съ веселымъ толстолицымъ коммивояжеромъ — и какъ только поднялся онъ и ушелъ (зря пропали заряды), вновь омертвѣть и пустыми глазами гля-дѣть на проходящихъ гарсоновъ — единственныхъ лю-



дей, съ ней разговаривающихъ по товарищески (нѣкоторыхъ знаетъ она и ближе, но никого не помнитъ по именамъ. И ее всѣ въ лицо знаютъ здѣсь, но никто не знаетъ, кто она).

... Нынче работа не весьма клеилась — изъ-за холода. Это обычно. Она не огорчалась. Потеплѣетъ, все будетъ навестано. Сдѣлала кругъ мимо магазиновъ Лафайетъ, поглазѣла на свѣтовые каскады, на катанье со снѣговыхъ горъ въ окнахъ, на безликихъ манекеновъ, медленно за стекломъ вращающихся (ей они очень нравились). Искупалась въ зеленомъ и фіолетовомъ свѣтѣ, поочередно сверху насылаемомъ. . . Пред-рождественская толпа — толстые мамы съ дѣтьми. очереди передъ панорамами. Долго ей тутъ не придется быть. Людской потокъ, что стремится къ Прэнтанъ — безчисленное море тѣлъ, лицъ, взглядовъ. замывающихъ каждое отдѣльное лицо — вынесъ ее съ однимъ-двумя перебойми у боковыхъ улицъ (волны поперечныхъ автомобилей), къ улицѣ Троншэ, тоже сверкавшей красною пестротой свѣта — столь изящно-дробнаго, разсыпаннаго, такого парижскаго. . . Тутъ ужъ свободнѣе. Двѣ знакомыхъ товарки подрагивали на углу улицы Матюрень. Женевьева улыбнулась имъ, и кивнула. Онѣ улыбнулись тоже. Какъ проходящіе корабли — Женевьева взяла курсъ на Мадлэнъ, а Жоржетта съ Денизой на Лафайетъ. Ихъ дальнѣйшее плаваніе въ сине-туманномъ Парижѣ, пронзаемомъ тысячью острыхъ огней, гудковъ, скрежетовъ автобусныхъ, не совсѣмъ одинаково. Жоржетта направилась въ кафэ, Дениза получила ангажементъ, Женевьева спокойной своей походкой дошла до Мадлэнъ, и когда огибала храмъ справа, столкнулась съ изящнымъ

господиномъ въ скупсѣ, выходявшимъ изъ капеллы Антонія Падуанскаго. По скупсу собралась было выстрѣлить, но замѣтила знакомое пассійское лицо — при потушенныхъ огняхъ прошла мимо. Сосѣдей въ кліентурѣ быть не могло. Анатолій Иванычъ, при всей разсвѣянности своей, тоже обратилъ на нее вниманіе, хотѣлъ было поклониться. Но Женевьева уже вдали покачивала на ходу бедрами, оставляя эротическую фосфоресценцію. Это не занимало его сейчасъ: не безъ задумчивости брель онъ къ метро — собирался навѣстить Олимпіаду Николаевну.

А равновѣсіе трехъ встрѣтившихся дѣвицъ быстро возстановилось. Черезъ полчаса Женевьева получила ангажементъ, а Дениза сидѣла въ кафе, потомъ обѣ дѣлали круги дальнѣйшіе, а выступала со своимъ номеромъ Жоржетта. Потомъ всѣ трое въ разныхъ кафе сидѣли, въ разныхъ отеляхъ лежали — сочетаній оказалось порядочно. Зимній Парижъ, холодный, предпраздничный, тасовалъ ихъ какъ хотѣлъ.

\* \*

\*

Олимпіадѣ Николаевнѣ было подѣ пятьдесятъ. Но на видъ не болѣе тридцати пяти. Она обладала удобнымъ свойствомъ, не столь рѣдкимъ у парижскихъ дамъ съ бюджетомъ отъ пятнадцати тысячъ въ мѣсяцъ: если не молодѣть, то удерживать позиціи. Это не такъ трудно ей и давалось, помогала гигиена, техника и ровный характеръ. Основное правило жизни ея — не волноваться. Она любила себя спокойною, самоувѣренной любовью, твердо вѣрила въ свою звѣзду и со

всѣми данными этими прожила довольно бурную жизнь. Бурность связана была съ красотою. Если Жене́вьева считала, что бедра кормятъ ее, то бѣлотѣлая, могучая Олимпіада съ гораздо большимъ правомъ могла сказать: «квартира моя — это я. Платья мои — я, брилліанты тоже я».

Происхожденія средне-низшаго, она рано вышла замужъ въ Калугѣ за доктора. Потомъ ее увезъ актеръ, въ Нижнемъ застрѣлился. На ней женился пароходо-владѣлецъ. Потомъ влюбился инженеръ, потомъ попала она къ крупному картежнику въ Москвѣ. Началась война — она въ Польшѣ, съ санитарнымъ поѣздомъ. Нарядъ сестры милосердія весьма къ ней шелъ. И въ «маломъ Парижѣ» познакомилась она съ лодзинскимъ фабрикантомъ — начался разводъ съ судовладѣльцемъ. Тотъ умеръ во-время. Олимпіада превратилась въ польскую гражданку. По окончаніи войны много шатались они съ мужемъ по Европѣ, играли по всѣмъ Біаррицамъ и Довиллямъ. Мужъ проигрывалъ, Олимпіада выигрывала (ей везло). Правда, въ случаяхъ ея проигрыша платилъ онъ, она-же ему своихъ выигрышей не отдавала (но и проигрывала рѣдко — опять таки даръ характера и нѣкоторый опытъ молодости — уроки ушастаго игрока изъ Москвы).

Наступила минута, когда мужъ окончательно ей надоѣлъ. Она устроилась такъ, чтобы жить въ Парижѣ, его-же почаще, подольше засылать «на корону» — управлять тамъ дѣлами и имѣньями. Это давало ей свободу. Польская гражданка изъ Калуги посѣщала премьеры, пила чай у Ритца, причесывалась у Антуана и каждое утро Дора Львовна разминала ее все еще прекрасное, съ розовѣющею нѣжностью блондинки тѣло.

У нея было много друзей и среди французовъ — титулованныхъ или промышленниковъ. Называли ее *la belle Olympe*. Съ русскими тоже водилась — безъ особеннаго разбора. Что-то русское, почвенное сидѣло въ ней несмотря ни на какіе Парижи: скучно съ одними иностранцами. И потому — съ нѣкимъ опасеніемъ хлопотъ и просьбъ о помощи — предъ соотечественниками все-же не закрывала она дверей.

Анатолій Ивановичъ сѣлъ въ метро на бульварѣ Османнѣ. Черезъ десять минутъ сороконожка станціи Трокадеро выносила его изъ глубинъ. Рядомъ ахали двѣ мидинетки — вѣчнымъ аханьемъ притворнаго страха — какъ бы не оступиться при выходѣ — хохотали, держались другъ за дружку. Анатолій Ивановичъ любилъ эти лѣстницы. Поднявшись, оглянулся, нельзя-ли опять спуститься и подняться? Но было уже поздно, сонный типъ въ будкѣ — сзади. Зато выйдя на свѣтъ Божій, пересѣкши синюю въ вечерней мглѣ площадь съ золотыми огнями, онъ на улицѣ Франклэнъ не сѣлъ въ подъемникъ дома Олимпіады, а пошелъ пѣшкомъ: насколько любилъ ползучія гусеницы метро, столь-же ненавидѣлъ лифты, боялся ихъ. И медленно подымался сейчасъ по тихой, въ ковръ, лѣстницѣ. Олимпіада жила въ четвертомъ этажѣ, съ балкономъ, видомъ на Трокадеро и зарѣчье Парижа. Богатые французы обитали за массивными дверями. . . Все здѣсь порядокъ, «благообразіе». Шаги слышны по бобрику. «У консьержки, навѣрно, *les quelques six-sept cents milles francs d'économie*. Да, у нихъ все прочно, у французовъ».

Отворила горничная — изъ тѣхъ безразлично-послушныхъ парижскихъ существъ, что съ парадной сво-

ей стороны, обращенной къ хозяевамъ и гостямъ, напоминають летейскія тѣни, въ дѣйствительности-же полны той самой жизни, страстей, зависти и желаній, какъ и ихъ повелители. Такая тѣнь — нынче Жюльетта, завтра Полина — прошептала, что мадамъ нѣсколько сейчасъ занята. «У мсье rendez-vous?» И безразличнымъ жестомъ пригласила въ гостиную. Столь-же привычно повернула выключатель — въ люстрѣ вспыхнулъ нѣжный свѣтъ, сразу выхватившій комнату изъ небытія. Мягкій коверъ — будто бобрикъ съ лѣстницы забрелъ и сюда. Виды Варшавы на стѣнахъ, мощный диванъ ампиръ изъ деревенскаго дома подъ Кѣльцами. Корельской березы рояль, узенькій, старомодный: не Шопенъ ли игралъ на немъ нѣкогда? Кустъ блѣдной сирени въ корзинкѣ.

Летейская тѣнь удалилась. Анатолій Ивановичъ потушилъ свѣтъ. Комната тотчасъ угасла, зато другой міръ явился: за окнами, дальше рѣшетки балкона, за башнею Трокадеро замерцалъ золотистой чешуею Парижъ. Мракъ синѣлъ и туманѣлъ. Но драконъ шевелился въ немъ, отливая безчисленными, огнезлатистыми точками. Анатолій Ивановичъ сѣлъ въ кресло. Было тепло, тихо, покойно. Изъ двери справа узенькая стрѣла свѣта по ковра. Голоса. Олимпіадинъ узналъ онъ сразу, другой, мужской, будто тоже знакомый.

Надъ дракономъ въ окнѣ вознеслась узкая золотая цѣпочка башнею, задрожала, обнаружила надъ собой красную голову, а на тѣлѣ выскочила цифра 6, и красная голова заструилась, замигала переливчатымъ пламенемъ.

Въ комнатѣ двинули стулья, встали. Дверь отворилась. Олимпіада вошла походкою плавной, медленной,

точно пажъ долженъ нести шлейфъ королевскаго ея платья.

— Какая тьма. . .

Опять тайная сила пронеслась въ люстру. Мантін на Олимпіадѣ не оказалось, просто атласный пенъюаръ съ мѣхомъ. Сзади Михаилъ Михайлычъ.

— Анатолий тутъ, вонъ онъ гдѣ прячется. Одинъ, въ темнотѣ. . . очень остроумно!

Анатолий Иванычъ подошелъ къ ручкѣ. Давнее знакомство, еще съ Польши, баккара съ мужемъ, нѣкія общія предпріятія съ Олимпіадой, все это установило какъ бы товарищескія, слегка за панибрата отношенія.

— А мы съ генераломъ цѣлые проекты строили. . . Да, трудныя времена.

Все тѣмъ-же плавнымъ шагомъ подошла она къ сирени, тронула ее у корня. Глаза стали серьезны. Тяжеловатыя ноздри раздулись.

— Hélène!

Летейская тѣнь вынырнула изъ глубины.

— Вы не поливаете сирени. Совсѣмъ сухая!

— Я поливаю.

— Нѣтъ, сухая.

Тѣнь покорно исчезла. Въ передней раздался звонокъ. Олимпіада взглянула на ручные часы.

— Это мой адвокатъ. Дѣла, дѣла. . . Генераль, попробуйте, какъ я совѣтую. Можетъ, что и выйдеть. Я вѣдь дала вамъ карточку? Такъ. Анатолий, чай будетъ въ столовой, мнѣ только нѣсколько словъ, да подписать двѣ бумаги. Вотъ. У васъ, разумѣется, тоже неважно? Да, поговоримъ, Михаилъ Михайловичъ, если

меня не дождетесь, то передайте Дорѣ Львовнѣ, чтобы захватила завтра эту книжку.

И la belle Олушре, положивъ руль вправо на бортъ, выплыла въ свой кабинетъ.

Анатолій Ивановичъ ласково улыбнулся генералу.

— Погодите уходить. Выпьемъ по чашкѣ чаю.

Генераль имѣлъ видъ нѣсколько подавленный.

— Что-же мнѣ здѣсь чай пить. Я какъ проситель, съ письмомъ.

Анатолій Ивановичъ взялъ его за рукавъ, слегка погладилъ.

— И я. И я тоже. Это... ничего!

Онъ серьезно, по-дѣтски, расширилъ глаза.

— Вы на халаты атласные... не обращайтесь вниманія. Это такъ полагается. А стѣсняться... Не надо. Она вамъ обѣщала?

— Д-да-да... что-то вродѣ консьержа въ замкѣ подъ Парижемъ.

Генераль вынулъ карточку, повертѣлъ въ рукахъ. Слегка пожалъ плечами.

— Я могу и консьержемъ, конечно...

— Консьержемъ, консьержемъ...

Анатолій Ивановичъ все улыбался, лукаво и поощрительно. Въ такое дурацкое, моль, время, ничему удивляться не приходится.

Но въ столовой вниманіе его быстро отвлеклось. На столикѣ стояла шхуна, изящно сдѣланная. Онъ показалъ на нее генералу.

— Это... мой подарокъ. И вмѣстѣ — реклама!

Онъ хитро улыбнулся.

— У нея здѣсь бываетъ немало народу, видятъ... иной разъ и мнѣ заказъ перепадетъ. Есть вѣдь любии-

тели кораблей. Она меня познакомила съ однимъ старенькимъ французскимъ адмираломъ, премилѣйшимъ... Два брига заказаль, и фрегатъ. . . А иногда мы съ ней и бѣльшія дѣла устраиваемъ.

Анатолій Иванычъ блаженно улыбнулся. Вновь переживаль радость хорошей комбинаціи. Но и генерала нѣсколько подбодрила шхуна.

— Вѣдь замѣчательно сработана, дѣйствительно. . . Вы что-же, морякомъ были, что-ли? Инженеромъ корабельнымъ?

— Нѣтъ! Никогда. И даже боюсь моря. Я по дипломатическому вѣдомству.

Генераль посмотрѣль на него пристально. «Со странностями малый. Прямо чудаковатъ».

Когда тѣнь съ именемъ Эленъ внесла чай, они сѣли у тяжелаго дубоваго стола съ дневною скатертью — добротной красноватой матеріи.

Анатолій Иванычъ задумался, побалтывая ложечкой въ стаканѣ.

— Я былъ младшимъ секретаремъ посольства, и казалось, все такъ навсегда, и служба, Россія. А теперь видите. . . тоже очень нуждаюсь. Пожалуй, не меньше васъ. Тоже. . . борюсь, но иногда падаю духомъ.

Онъ помолчалъ, потомъ вдругъ взялъ опять генерала за рукавъ, привѣтливо, и какъ бы съ грустью. — Вотъ и подумаешь: къ чему? Вѣчно возиться, бороться, бѣгать, занимать. . . Я сегодня къ Антонію Падуанскому заходилъ, помолился ему. . . Это, какъ вы думаете, поможетъ?

Въ комнатѣ тихо, свѣтло. Отопление слегка потрескиваетъ. Иногда по трубамъ что-то мелодически перебѣгаетъ. Генераль сидитъ подь струящимся свѣтомъ.



въ незнакомой комнатѣ полузнакомой хозяйки, глядитъ на малознакомаго обитателя Пасси — полусосьда, полутоварища. Ему тоже кажется, что пріоткрылась нѣкая стѣна изъ свѣтло-теплой столовой. Море житейское! Ему-ли не знать по немъ плаваній?

Но сейчасъ онъ бурчить:

— Что-жъ это къ Падуанскому? Вы развѣ католикъ?

— Нѣтъ, православный.

— Тогда лучше ужъ къ Сергію, или Серафиму.

Анатолій Иванычъ вдругъ забеспокоился.

— Напрасно къ Падуанскому? Значить, скорѣе-бы вышло, если-бы обратился къ преподобному Сергію?

Генераль слегка фукнулъ.

— Опасаетесь, что вмѣсто Маклакова попали къ Моро-Джіаффері?

— Нѣтъ, но конечно естественнѣе мнѣ, какъ православному. . .

— Ничего, Богъ дастъ и Падуанскій поможетъ.

Генераль помѣшивалъ чай ложечкой, задумчиво смотрѣлъ на Анатолія Иваныча. Онъ уже нѣсколько освоился и съ мѣстомъ. Вѣжливый человѣкъ съ мигающими глазами, будто чего-то стѣсняющійся, не раздражалъ его.

— А по правдѣ говоря, очень многимъ русскимъ здѣсь нужна сейчасъ помощь. Дѣло серьезное-съ, очень серьезное. . .

— Серьезное, отозвался почтительно Анатолій Иванычъ.

— И не столь въ смыслѣ матеріальномъ. Разумѣется, всѣмъ трудно. Приходится вотъ такъ пороги околачивать. Но главное не въ этомъ. Мы, военные, отлич-

но знаемъ, что такое въ борьбѣ моральная сторона. Самый ловкій и правильный маневръ можетъ разбиться о духовную стойкость. Вспомните у Толстого, Шенграбенское сраженіе. Да такихъ примѣровъ можно и изъ нынѣшней войны привести десятки. А такъ какъ нынѣшняя жизнь, по напряженности своей, очень похожа на войну, то и приходится съ опытомъ войны считаться.

— Конечно, война! Совершенно правильно.

Анатолій Ивановичъ все сочувственнѣе на него смотрѣлъ. Этотъ сухощавый старикъ, бѣдно одѣтый, среднее между испанскимъ грандомъ и аристократическимъ консьержемъ, нравился ему все болѣе.

— Я даже скажу вамъ такъ: наше положеніе походить на труднѣйшую фазу военныхъ дѣйствій — на отступленіе. . . Какъ мы въ Польшѣ, въ пятнадцатомъ году, лѣтомъ отступали. . . Сохранить въ отступленіи порядокъ и не пасть духомъ, не разложиться — это, знаете-ли. . . Здѣсь не мѣсто, разумѣется, рассказывать. Но какъ вспомнишь эти ночи июльскія — въ темнотѣ полкъ движется, и съ трехъ сторонъ зарева. Только узенькій коридорчикъ туда, гдѣ Россія. Съ трехъ сторонъ нѣмцы. Какъ они насъ, почти безоружныхъ, вовсе не окружили — удивляюсь.

Генераль помолчалъ.

— Здѣсь въ эмиграціи, многіе не выдерживаютъ, какъ и у насъ на фронтѣ случалось. Выскочить изъ окопа молоденькій прапорщикъ. Скажемъ, у него зубъ болить. Да изъ-за зубной боли трахъ, въ лобъ себѣ изъ ногана. Вы замѣчаете, какъ часты стали у насъ самоубійства? Газъ, верональ, мало-ли что. Даже и преступленія появились — ослабѣлъ народъ, оно понят-

но. Вотъ гдѣ духовная поддержка и нужна-сь. Это все равно, разумѣется, Сергій или Антоній, важна бодрость въ отступленіи, чтобы его достойно вынести. На заранѣе подготовленные позиціи! — Знаемъ мы эти позиціи. Вродѣ тогдашнихъ окопишекъ — бухнешься въ нихъ на зарѣ, и лежишь цѣлый день. Но что подѣлать, приходится. . . и теперь, какъ тогда, въ младшихъ бодрость поддерживать. Въ нашемъ военномъ кругу, есть здѣсь извѣстное товарищество, связь. Въ нѣкоторой степени крѣпить. А нужно-бы и вообще, на всю эмиграцію.

— Вотъ именно на всю! Вы правильно сказали, совершенно правильно. На всю!

Анатолій Иванычъ вполне оживился. У него былъ такой видъ, что онъ готовъ, сейчасъ-же, поддерживать и укрѣплять не только военныхъ, но и всю эмиграцію. А, пожалуй, и весь свѣтъ.

\* \*  
\*

Онъ это и высказалъ. По его мнѣнію, русскіе должны были объединиться, устроить содружескія артели, образовать общій фондъ и въ концѣ концовъ избрать себѣ правительство, въ противовѣсъ третьему интернаціоналу. Центръ долженъ быть въ Парижѣ, а отдѣленія разбросаны по всему свѣту.

Генераль допилъ чай, всталъ. Ему вдругъ стало нѣсколько не по себѣ. Что-то ужъ очень, тово. . . занеслись. И самъ онъ впалъ зачѣмъ то въ разглагольствованія и воспоминанья — въ чужомъ мѣстѣ, куда по-

паль отступая — передъ полужнакомымъ челоуѣкомъ двусмысленнаго, несолиднаго тона. . .

Анатолій Иуанычъ сталь его удерживать, будто былъ тутъ хозяиномъ. Генералу это еще меньше понравилось. Онъ вѣжливо, но прохладно попрощался и вышелъ.

. . . Нѣскольго словъ и двѣ бумаги Олимпіады затулились. Ожидая ее, Анатолій Иуанычъ подошелъ къ невысокому буфету и досталь коньяку. Видъ бутылки со звѣздочками и коричнеуато-златистою жидкостью не огорчилъ его. Перуую рюмку онъ выпилъ сразу, не отходя, вторую налилъ до краевъ, бережно донесъ къ столу и уважительно поставилъ на серебряный подносикъ: къ этому коньяку не могъ отнестия легкомысленно. Эту вторую выпилъ уже медленно, заѣдая кусочкомъ сахара. Но фатально вторая повлекла третью, погружая въ коричнеуато-золотистыя фантазіи.

Въ этомъ состояніи мечтательной разслабленности и застала его Олимпіада. Изъ гостиной выходилъ адвокатъ. Она была нѣскольго недовольна, поправляла у зеркала волосы. Свѣтлые глаза глядѣли хмуро.

— Столько всякихъ неприяностей. Съ этой Польшей чортъ ногу сломить. И еще былъ-бы рядомъ толковый мужчина. . . А вы вѣдь знаете, онъ тамъ по части скачекъ да картъ. Дѣла всѣ на мнѣ. Вы, конечно, уже выпиваете. Дайте и мнѣ рюмку. Устала. Толстѣешь отъ коньяку. . . обращусь въ Стаэле. Ну, одну рюмочку.

Анатолій Иуанычъ налилъ, она прочно, по мужски опрокинула. Ноздри слегка раздулись.

— Вотъ. Теперь тепло.

Она провела рукой по горлу и верхней части груди.

— Анатолий, у васъ, конечно, тоже нѣту денегъ? Вы потому и пришли? Скажите прямо: занимать, или совѣтоваться?

Анатолийъ Иванычъ сталъ ласково и безсмысленно улыбаться. Олимпиада налила себѣ вторую.

— Коньякъ неплохой, это мнѣ подарокъ. По вашей улыбкѣ я вижу, что и занимать, и совѣтоваться. Превосходно. Взаймы я вамъ дамъ пятьдесятъ.

Онъ всталъ, поцѣловалъ ей ручку.

— Мнѣ нравится въ васъ эта безсмысленная улыбка, и вообще ваша безсмысленность. Я вамъ ни чуточки не довѣряю, и все-таки веду съ вами дѣла, потому что у васъ пріятный характеръ. А я больше всего не люблю раздражаться, волноваться.

Она сѣла въ кресло, вытянула могучія ноги, опершись пятками на низкій пуфъ, и ея крупное, холеное тѣло какъ бы успокоилось въ удобномъ футлярѣ. Полузакрыла глаза, подняла голую руку и опять поправила волосы — низкій завитокъ знаменитаго парикмахера: точно лѣнивый звѣрь.

Начался разговоръ о дѣлѣ — все о той-же картинѣ, которую греку онъ, разумѣется, не продалъ, и теперь рѣшилъ безъ Друцкого попробовать съ Олимпиадой. Она сначала посмѣивалась. Потомъ стала серьезнѣй. Фрагонарь... да, отказываться нельзя. Были и собственные предложенія, но это мельче. Она сдѣлала надъ собой усиліе, встала. Сѣла къ столу и въ спокойномъ, дѣловомъ тонѣ принялась обсуждать, къ кому обратиться, что спрашивать.

## ПОВЕДЕНІЕ ДОРЫ

— Ай, какіе пустяки! Если тебѣ Фанни говоритъ, что беретъ твоего святошу въ Ниццу, такъ ужъ она зря не скажетъ!

Дора сдѣлала нѣсколько заключительныхъ пассовъ по округлымъ, съ жиркомъ и начинающимъ сбиваться (какъ кисель) ляжкамъ Фанни — отошла отъ постели.

— Я нисколько и не сомнѣваюсь, что ему будетъ хорошо у тебя. Все-таки, жаль разставаться.

Подъ струею воды въ умывальникѣ она мыла руки.

— Ну, да, да, что за сантиментальности. Я-же ему двоюродная тетка. Онъ меня обожаетъ. Какой нибудь мѣсяць-полтора на Котъ д'Азюръ. Подумаешь, велика радость одному цѣлый день сидѣть и съ этимъ твоимъ генераломъ объ орденахъ и архіереяхъ разглагольствовать. . .

Фанни лежала на постели совершенно голая, въ голубомъ чепчикѣ, съ намазаннымъ кремомъ лицомъ. Кремъ клался для того, чтобы предотвратить морщины, но живые глаза, нервность и подвижность Фанни

портили все. Да и годы мѣшали. Она соскочила съ постели, подошла къ вѣсамъ. Неважно сложена Фанни — съ полнымъ бюстомъ, низкимъ тазомъ, несовсѣмъ правильными ногами (кое-гдѣ синѣли на нихъ узлы вень). Но бодрое, неунывающее не покидало ее никогда.

— Дора, ты великая массажистка. До тебя я приняла полкило, а теперь убавляю.

— Очень рада. А насчетъ Рафы — конечно, ему очень полезно пожить въ новыхъ условіяхъ, и на солнцѣ. Я не совсѣмъ знаю, какъ онъ самъ относится. . .

Зазвонилъ телефонъ. Фанни накинула халатикъ, подошла къ аппарату.

— Софья Соломоновна? Да, я. Ну, какъ вчера сошло? А Іезекиль Лазаревичъ? Выигралъ? Ну, ему всегда везетъ. Въ пятницу? Я кажется занята. Если не ошибаюсь, бриджъ у Дубовскихъ.

Дора, слегка улыбаясь, вытирала руки о мохнатое полотенце. Все это знала она наизусть: вѣчныя перекрещиванія примѣрокъ съ дневными синема, бриджей съ поккерами, благотворительныхъ баловъ съ вечерами писателей. Да, телефонъ Фанни работалъ. По финансовому положенію мужа и по добротѣ характера, состояла она въ черномъ спискѣ всѣхъ Союзовъ, Комитетовъ, Землячествъ. Всѣ присылали ей билеты. Если бы ходила аккуратно, то и ногъ не хватило-бы.

Но сейчасъ это лишь мелькнуло передъ Дорой. Занята она была другимъ.

— Ну, такъ имѣй въ виду, въ среду я уѣзжаю. Рѣшай не позже понедѣльника. И позвони. Совѣтую попросту спросить молодца. Онъ умный. Пойметъ, что у тети Фанни скучно не будетъ.

Дора Львовна одѣлась и вышла. Начинался ея трудовой день — отъ груди къ животамъ, отъ спинъ къ ляжкамъ — если-бы внезапно остановились вѣсы и замолкли доктора, отправляющіе здоровенныхъ дамъ на отдыхъ, тотчасъ лишилась-бы она и скромной квартиры въ Пасси. Но вѣсы дѣйствовали. Доктора не унывали. И матеріальное пока Дору не угнетало. Душа-же не была покойна.

Во-первыхъ, Рафа. Конечно, сидѣть съ генераломъ, слоняться по дому и по квартирамъ русскихъ не такое ужъ замѣчательное занятіе. Учитя онъ мало и случайно; дѣйствительно, набирается отъ генерала всякой старомодной премудрости. Теперь не то, вовсе не то нужно! Этакихъ генераловъ поставляли барскія усадьбы. А въ эмиграціи, при борьбѣ за существованіе. . . Нѣтъ, скорѣе въ Лицей — надо было еще осенью отдать. Будетъ онъ бѣгать въ беретикъ, пойдутъ всякія compositions, башо. . . — и незамѣтно станетъ инженеромъ, уѣдетъ въ колоніи. Дальше думать не хотѣлось. Дальше опять начинались какія-то печальныя вещи — вродѣ одинокой старости при непрерывныхъ чужихъ животахъ и ляжкахъ. Дора Львовна вздыхала, помалкивала. «Объ этомъ незачѣмъ думать. Природа такъ создала, значить, и надо жить».

А вотъ сейчасъ: отпустить, все-таки, Рафу на югъ, или отказаться? Тоже вопросъ — это второе, что ее занимаетъ.

Конечно, ему любопытно. Но весь духъ фанниной жизни. . . «Безтолковщина, роскошь, карты, шумъ, синема. . .» Въ будущемъ видѣла она Рафу юношею серьезнымъ, трудолюбивымъ, никакъ не снобомъ въ ши-



рокихъ штанахъ. «Эти замашки легко прививаются, а изволь-ка отъ нихъ отвыкнуть».

Здравый смыслъ говорилъ, что скорѣе пускать не слѣдуетъ. И весь день, передвигаясь съ авеню Анри Мартэнъ на Малаковъ, съ Малакова на Токио и Курья Рэнъ, отъ большихъ животовъ къ малымъ, отъ однихъ венъ къ другимъ, ощущала она какую-то занозу — къ вечеру надо принять рѣшеніе. Оно, будто-бы, и вполне ясно, но не легко дается. «Надуваю какъ-то себя...», подумала, садясь въ автобусъ, съ которымъ всегда возвращалась.

Сошла съ него и медленно брела по rue de la Pompe.

Порошилъ снѣжокъ, таялъ, дѣлая пестрыми тротуары. Слѣды печатались чернымъ въ бѣлосой мглѣ, коегдѣ прерываемой проталинами. Машины скользили. Пѣшеходы тѣснѣй жались къ домамъ, и желтый свѣтъ кондитерскихъ, быстро, книжныхъ магазиновъ косымъ столбомъ выхватывалъ культурно-европейскія снѣжинки неба парижскаго. Здѣсь, свернувъ въ переулочекъ, можно было увидѣть за невысокой стѣнной каштаны дома Жаненъ. Можетъ быть, одно окно свѣтитя — то, настоящее, которое какъ разъ и нужно. А можетъ быть, только что оно погасло, и нѣкій художавый и высокій человѣкъ, такъ удачно тогда помогшій купить вино, поднявъ скунсовый воротникъ, съ пустымъ желудкомъ вышелъ за добычей и вотъ-вотъ съ нимъ встрѣтишься, хотя бы у той лавченки.

А можно-ли, встрѣтившись, не взволноваться? Рафино рожденье... Какъ все неожиданно случилось! Ну, конечно, слабость... Отъ волненія, смущенія не спала всю ночь. «Рафа, вѣдь, раздѣвался у себя въ комнатѣ, могъ войти». «Какъ послѣдняя... Да, но съ

другой стороны. . . Не маленькая, свободный человекъ, захотѣла и полюбила. Тѣло тоже имѣетъ свои права» — и шли естественно-научныя размышленія.

А онъ, самъ-то онъ? Случайность? Можетъ, завтра будетъ стыдиться, не узнаетъ на улицѣ?

На другой день никуда не годилась согрѣшившая Дора — всѣ массажи ея чуть дышали, животы и груди удивлялись, какъ небрежно, слабо, неумѣло обращались съ ними крѣпкія прежде руки.

«Ну да, ну все это чепуха, мало-ли что бываетъ съ одинокой женщиной. . . Да и онъ не подумаетъ обо мнѣ вспомнить». . . Но какъ разъ тѣмъ-же вечеромъ, какъ рѣшила это и частію даже успокоилась (эпизодъ, пустякъ) онъ и явился, около десяти. Рафа уже спалъ. Сидѣли вдвоемъ. И всѣ эти мысли ушли. Опять онъ улыбался, былъ тихъ, очень нѣженъ, настолько нѣженъ. . . Стыда она не чувствовала. Подозрѣвала-ли Капа, что онъ тутъ-же, чуть ли не за стѣной? Что ушелъ въ третьемъ часу ночи и вновь Дора не спала, теперь уже вовсе ослабѣвшая, въ блаженной усталости, въ ощущеніи жизни, любви, силы?

Уходя, Анатолій Ивановичъ сказалъ, что придетъ на другой день вечеромъ. Дора купила бутылку Brâne Santenas, спрятала ее, спрятала и угощеніе, разставила все лишь когда Рафа заснулъ. Чтобы не будить его, входную дверь не заперла.

Сыръ честеръ, заварной черный хлѣбъ, ветчинка и шпроты такъ и простояли до полуночи — никто ихъ не тронулъ. Подогрѣлся и Brâne Santenas — никто не откупорилъ его. Неприятное чувство хозяйки. . . Дора одно лишь подумала — что нибудь вовсе особенное его задержало? Но прошло еще два-три дня, и еще

семь дней. . . «Это ужь совсѣмъ странно. . .» А онъ не нашель нисколько страннымъ. Въ нѣкій моментъ встрѣтилъ ее, выходя отъ Капы, такъ-же любезно и мило, какъ тогда въ виноторговль — на недоумѣнный взоръ улыбнулся, взялъ подъ руку и повель по rue de la Roche, объясняя, что тогда никакъ не могъ, неожиданно его вызвали по дѣламъ. «Отчего-же потомъ не зашли?» А вотъ все разные пустяки. . . Но онъ всегда, и съ великимъ удовольствіемъ зайдетъ, напри- мѣръ, завтра. Дора смотрѣла на него сбоку, видѣла, какъ онъ слегка нагибалъ впередъ голову, точно бли- зорукій — кто онъ ей, свой, чужой, любовникъ, учти- вый сосѣдъ? Нужно-бы сразу рѣшить: или идти по другому, или совсѣмъ не идти. Но она именно шла и смотрѣла, и не совсѣмъ по разумному шла. А на зав- тра онъ дѣйствительно явился, и дѣйствительно такъ, что и Рафа спалъ и честерь опять былъ, и Brâne Cap- tepas не пропалъ понапрасну.

Когда уходилъ, она спросила:

— Вы часто у Капы бываете?

— Да, бываю. Она прекрасная дѣвушка, но съ тя- желымъ характеромъ. . .

Дора смотрѣла пристально.

— Она вновь ваша любовница?

— Я служилъ одно время шофферомъ у Стаэле. Она жила тамъ лектрисой. Мы очень дружили.

— Конечно, любовница. . .

— Я иногда захожу къ ней. Она прекрасная дѣ- вушка.

— Я не ревнивая, сказала Дора покойно — и не имѣю на васъ никакихъ правъ. Но мнѣ хотѣлось-бы, все-таки. . . ну, напри- мѣръ, какъ держаться съ Капито-

линой Александровной? Она знает. . . что вы ко мнѣ заходите?

— Это неважно. Лучше ей, разумѣется, не знать. . .  
— онъ говорилъ разсвѣнно, какъ о неинтересномъ. —  
У нея тяжелый характеръ.

«Хорошо», думала Дора, оставшись одна: «конечно, она болѣзненная дѣвушка, меланхоличка и, должно быть, истеричка. А я здоровая массажистка сорока трехъ лѣтъ. И такъ легко сблизилась съ нимъ, что, понятно, никакихъ на него правъ не имѣю. Такихъ, какъ я, у него были десятки. И мы, здоровыя и случайныя, должны оберегать этихъ достоевскихъ дѣвушекъ, которыя, впрочемъ, тоже довольно легко отдаются, но потомъ разводять безконечныя исторіи». Дора долго чистила зубы, мылась, причесывалась, все старалась дѣлать медленно и покойно, чтобы *несмотря ни на что* получше заснуть и вообще не терять силъ понапрасну: завтра вѣдь трудовой день. Дѣйствительно, улеглась очень покойно. Чтобы лучше спать, приняла таблетку діала, и въ концѣ концовъ, правда, спала. А на другой день рабтала, все шло разумно, но нельзя сказать, чтобы въ глубинѣ покой. Что-то должно придти, какъ-то окончательно выясниться. Тогда, собственно, настоящее и начнется. Дора всѣ эти дни ждала. И когда Фанни предложила взять Рафу на февраль въ Ниццу, ее именно то и смутило, что хоть это и неправильно, а все-же что-то есть. . . Рафы не будетъ, все иное, она свободная и помолодѣвшая. Становилось даже стыдно — точно Рафа мѣшаетъ? Онъ чудесный мальчикъ, единственное, что прочно привязываетъ ее къ жизни. . . — раньше Дора покойно къ нему относилась, но сейчасъ вдругъ предсталъ онъ въ

особо-пронзительномъ, сантиментальномъ родѣ. Стало казаться, что только въ немъ все — вмѣствъ съ тѣмъ такъ-же сильно хотѣлось, чтобы сейчасъ онъ уѣхалъ.

Такъ подходила она къ своему дому, въ мокромъ-летящемъ снѣгѣ. Окно у Жаненъ не свѣтилось. Скуновъ воронникъ стрѣлялъ уже гдѣ-то по Парижу.

\* \*

\*

Почти у подъѣзда встрѣтила Капу. Та шла наклонивъ голову въ небольшой шляпкѣ, угловато, несо-всѣмъ складными шагами. Держала въ рукѣ сумочку и какъ будто на нее внимательно смотрѣла. Оттого лишь въ послѣдній моментъ и замѣтила Дору — когда та взялась за мѣдную шишку — особый приборъ въ ихъ домѣ: надо потянуть, и немолодая, нелегкая дверь съ рѣзбою медленно пріотворится. Дора не оказала на нее никакого дѣйствія: Капины сѣрые глаза равнодушно глядѣли изъ пещерь — на Дору-ли, на дверь, на троттуаръ, кому какое дѣло?

Дора первая протянула руку — бѣлую, сильную свою руку, и взглянула спокойнымъ, медицински-основательнымъ взоромъ: съ истеричками иначе нельзя.

— Сыро сегодня. У меня ноги промокли.

— У меня тоже, отвѣтила Капа.

Онѣ въ скудномъ освѣщеніи подымались по лѣстницѣ.

— Сейчасъ-же снимите чулки, разотрите ноги спиртомъ. Самое время гриппа.

Небогатый свѣтъ скользнулъ по лицу Капы, усталому, съ большими кругами подъ глазами. Глаза на-

этотъ разъ, встрѣтившись съ дориными, чуть пристальнѣй на нихъ остановились. Она слегка улыбнулась.

— Хорошо. Такъ и сдѣлаю.

Вкладывая ключъ, Дора еще разъ обернулась.

— Навѣрно, у васъ холодно. Рафа вамъ мгновенно затопить. У насъ и растопки есть, и уголь. Прислать его?

— Нѣтъ, благодарю васъ. Я сама.

— Какъ хотите.

Дора вошла къ себѣ, зажгла свѣтъ въ передней. Рафа былъ дома. Она не видѣла его въ эту минуту — онъ занимался чѣмъ-то у себя, но какъ всегда безошибочно опредѣлила его присутствіе: квартирка была живая, въ глубинѣ ея маленькій человѣкъ занимался какими-то нехитрыми дѣлами, наполняя собою все.

Раздѣвшись, Дора черезъ столовую прошла къ нему, въ ихъ общую комнату — больше походила эта комната на Рафу, впрочемъ. Его столъ, кровать, игрушки, книги, архіереи въ изголовьѣ. Дора все это знала и любила. Но сейчасъ чувствовала себя неблестяще. «Почему это я о ней вдругъ такъ забеспокоилась?» Показался натянутымъ самый тонъ. «Фальшь, неправда. . .» — Ее смущало, почти раздражало что-то. «Еще я-же и виновата выйду? И буду извиняться?»

— Я знаю, что это мама пришла. Я твои шаги еще на лѣстницѣ узнаю.

Лампа съ темнымъ абажуромъ, бросавшая рѣзкій свѣтъ на столъ и бумагу, оставляла нѣсколько въ тѣни лицо Рафы съ черными локонами надъ черными глазами. Но бѣлая, изящная рука ярко была освѣщена. При входѣ матери онъ всталъ, держа эту бумагу, подошель,

прислонился головою къ теплой материнской груди-  
Дора его поцѣловала.

— Что это у тебя?

— Подписной листь. Я долженъ собирать со знако-  
мыхъ, кто сколько можетъ.

Дора взяла бумагу. «Комитетъ помощи Свято-Анд-  
реевскому скиту близъ города Бовэ». . . «Архиманд-  
ритъ Никифоръ». . . И на первомъ мѣстѣ, въ списокъ  
жертвователей: «Рафаиль Лузинъ, 5 франковъ».

«Пожалуй, что Фанни права. У него здѣсь дѣйстви-  
тельно, слишкомъ однообразныя впечатлѣнія».

— Откуда ты это получилъ?

— Листы принесть генералу іеромонахъ Мельхисе-  
декъ. Я тамъ присутствовалъ.

— И тебѣ дали листь?

— Отецъ Мельхиседекъ сначала сталъ смѣять-  
ся. Но потомъ, когда я настаивалъ сдѣлался бо-  
лѣе серьезный и въ концѣ согласился. Генераль так-  
же одобрилъ. Онъ сказалъ, что если я и мало соберу,  
все-таки это будетъ хорошо.

У Рафы былъ очень значительный, почти важный  
видъ — человекъ, увѣреннаго въ своей правотѣ и го-  
товаго отразить нападеніе. Дора Львовна, впрочемъ, и  
не собиралась нападать. По ея педагогическимъ взгля-  
дамъ не надо оказывать давленія на ребенка: кромѣ  
свободы, которую всегда защищала, помнила она и за-  
конъ обратнаго дѣйствія: стѣбитъ лишь приказать, какъ  
разъ вызовешь чувство противоположное — сопроти-  
вленія, вражды. И она стала развивать обходный ма-  
невръ.

— Значить, ты теперь мытарь?

Рафа не зналъ, что такое мытарь.

Она объяснила, но онъ не согласился: тѣ вѣзали налоги, а онъ собираетъ пожертвования. Дора спорить не стала. Велѣла ему накрывать на столъ. Сама живо поджарила свиныя котлетки съ капустой, и за обѣдомъ спросила, помнитъ-ли онъ, какъ они три года назадъ были подъ Ниццей, въ Cagnes. Рафа отлично помнилъ. И удивился, почему его объ этомъ спрашиваютъ.

— Тебѣ тамъ вѣдь нравилось?

— Да, хорошее мѣсто.

— Тетя Фанни приглашаетъ тебя въ Ниццу, на мѣсяцъ.

Онъ неопредѣленно поболталъ головой. Докончивъ обглаживать ножку котлеты — съ лоснящимися разводами на щекахъ — сказалъ:

— А она позволить мнѣ собирать подписку?

— Тетя Фанни тебя очень любитъ.

Рафа спокойно, и нѣсколько равнодушно смотрѣлъ на мать черными своими, прекрасными глазами. То, что тетя Фанни любитъ его, Рафу не удивляло. Онъ привыкъ къ любви. Странно было-бы его не любить! Разумѣется, тетя Фанни сдѣлала ему на рожденіе хорошіе подарки.

И онъ милостиво согласился.

— Пусть подаритъ мнѣ хорошее ю-ю. . .

— А ты будешь по мнѣ скучать? вдругъ спросила Дора.

— Да. Такъ себѣ. Если будетъ весело, то соскучаюсь не очень.

— Соскучусь, поправила Дора, и вдругъ нѣжно его поцѣловала. — Хорошо, что тутъ нѣтъ генерала твоего. . .



Сидя у ней на колѣняхъ, онъ разсказалъ, какъ гуляли они сегодня съ генераломъ въ паркѣ Мюэттъ: «Тамъ, знаешь, одна дѣвчонка, Симоннъ, все меня дразнила. Она мнѣ кричала аинси: chateau, chateau! Я хотѣлъ тоже ее обругать, но вспомнилъ, генераль говоритъ, что съ дѣвчонками нельзя ругаться. И я удержался».

Дора Львовна порадовалась. «Ну, видишь, какой умникъ». «Да, и не обругалъ ее. Но потомъ, знаешь-ли, все-таки немного побилъ».

«Въ этой неустроенной жизни онъ довольно сильно отъ меня отвыкъ. . .» думала Дора позже, когда Рафа уже спалъ, и нѣжныя дѣтскія его черты стали еще нѣжнѣй, трогательнѣй на бѣлизнѣ подушки. Этотъ маленький человѣкъ будто-бы былъ предложенъ, въ беззащитномъ своемъ снѣ, какъ агнецъ — таинственной безднѣ. . . Онъ дышалъ ровно, легкая тѣнь лежала вокругъ глазъ, придавала невыразимую грусть лицу, съ прозрачною кожей, синими кое-гдѣ жилками — въ нихъ стучало вѣчнымъ, неумолкаемымъ стукомъ сердца.

— Они считаютъ, что въ человѣкѣ живетъ бессмертная душа, и продолжаетъ жить послѣ смерти. Это было бы очень хорошо. . . Но это непонятно!

Подъ «они» разумѣла она странныхъ людей вроде генерала, Мельхиседека и еще другихъ — ихъ появилось въ послѣднее время довольно много въ интеллигенціи. Дора Львовна въ юности считала религію признакомъ реакціи, но теперь относилась нѣсколько иначе. Все-таки, это для нея чуждый міръ. И сейчасъ, глядя на Рафу, она даже вздохнула: ей бы очень хотѣ-

лось, чтобы у него была бессмертная душа. Но она уверена была, что этого нѣтъ и не можетъ быть.

— И вѣдь я въ первый разъ расстаюсь съ нимъ.

\* \*

\*

На Лионскомъ вокзалѣ, подъ огромнымъ стекляннымъ навѣсомъ, клокотали и дымили паровозы. Линія пригородовъ тащила маленькіе старомодные вагончики. На путяхъ дальняго слѣдованія стояли пульмановскіе составы гармоніей, со спальными и вагономъ рестораномъ. По временамъ паровозы прочищали себѣ внутренности — пускали изъ поршней облака пара, со свистомъ и шипомъ, наводя оцѣпенѣніе. Паръ клубами валилъ къ желѣзостеклянной крышѣ — на минуту становилось похоже на баню. Носильщики катили вагонетки съ вещами. У третьяго класса гоготали солдаты въ голубомъ — вѣчнымъ гоготомъ молодыхъ жеребцовъ. Пожилыя дамы, марсельскаго происхожденія, съ усиками, въ черныхъ платьяхъ, съ дешевенькими чемоданчиками и кульками, расправляя юбки чинно усаживались въ купэ. Виднѣлось нѣсколько смуглыхъ марокканскихъ рожъ — сухой, противный говоръ.

Фанни катила по перрону къ первому классу, едва поспѣвая за носильщикомъ, стараясь не потерять ныряющую его ладью на колесикахъ. Суета, многословіе, волненіе расходилось отъ нея кругами, какъ отъ камня, брошеннаго въ прудъ.

— А, вотъ и путешественникъ! Таки ужъ онъ здѣсь, пора, сейчасъ займемъ компартиманъ, у тебя

все съ собой, ничего не забыть? Здравствуй, Дора, устроимъ его отлично. . . Все хорошо.

Рафа и Дора Львовна ждали уже у синяго вагона, гдѣ африканцамъ быть не полагалось. Только что вошла худенькая англичанка, потомъ сытая французская дама съ мужемъ. — Рафа былъ въ каскеткѣ, новомъ пальто, спортивныхъ штанахъ ниже колѣнъ — дальше пестрые чулки, желтые башмаки: хоть бы и не изъ русскаго дома въ Пасси. Въ рукѣ очень приличный чемоданъ.

Проволновавшись сколько полагается, раза три пересчитавъ вещи, Фанни усѣлась, съ видомъ довольной изнеможенности, на бархатномъ диванѣ съ бѣлой кружевной накидкой — Р. Л. М. Обмахнула лицо платкомъ.

— Дора, ты можешь быть совершенно покойна. У тети Фанни твоему молодцу плохо не будетъ. Привезу жирнаго, веселаго.

Рафа не очень ее слушалъ. Съ видомъ знатока осматриваль купэ, вышелъ въ коридоръ, потрогалъ оконное стекло.

— Это старый вагонъ. На Р. Л. М. все вообще плохое. И постоянныя крушенія.

— Ты слышишь, какъ онъ разсуждаетъ? Откуда ты это знаешь?

Рафа пожалъ плечами съ такимъ видомъ, что стоить-ли, молъ, разглагольствовать съ теткой о вещахъ самоочевидныхъ?

Дора Львовна держалась покойно. Собою владѣла, считала, что распускаться не слѣдуетъ. Но было у ней не совсѣмъ пріятное чувство: точно передъ Рафой она въ чемъ-то виновата. Сплавляетъ? Нѣтъ, пустяки, ко-

нечно. «Очень глупо было-бы не дать ему возможности провести мѣсяцъ на югѣ. . .»

Когда подошелъ часъ послѣднихъ поцѣлуевъ и вѣромъ стали захлопываться двери, Рафа тоже присмирѣлъ. Дора крѣпко и нѣжно, слегка поблѣднѣвъ, его поцѣловала.

— Если соску. . . чусь, сейчасъ къ тебѣ прїѣду.

— Непремѣнно. Пиши!

Фанни кивала изъ окна. Онъ вспрыгнулъ на площадку. Дверь захлопнули, содроганіе прошло по тѣлу поѣзда, онъ качнулся и тронулся. Личико Рафы съ темными локонами было видно за стекломъ, Дора шла за поѣздомъ. Потомъ тяжкая змѣя все сильнѣй стала надавать, обращаясь въ стрѣлу, пущенную изъ лука — ей летѣтъ въ вечерѣющей мглѣ полей французскихъ, громыхая и блестя огнями — къ дальнему морю. Буржуа и марокканцы, Рафа, Фанни и солдаты въ голубыхъ шинеляхъ — все уравнено въ нѣкоемъ небытіи.

Странно какъ то: былъ мальчикъ и вотъ нѣтъ его.

## ПАРОХОДЪ «КАПИТОЛИНА».

— Рѣдко-Конопленко, Рѣдко-Конопленко, Рѣдко-Рѣдко... — напѣваль генераль — Рѣдко-Конопленко...

Въ ветхомъ пиджачкѣ, въ мягкихъ туфляхъ, но выбритый, онъ ходилъ по діагонали комнаты. Обстановка опредѣлялась такъ: полдень предвесенняго парижскаго дня, теплаго и погожаго, съ высокими облачками на небѣ нѣжно-голубомъ. Въ окнѣ расчерчено оно тонкими вѣтвями каштановъ жаненовскихъ. Нѣтъ еще почекъ, но скоро будутъ — блѣдный свѣтъ, рѣющій, съ летящимъ въ немъ голубемъ, общаетъ неплохое. Каждый годъ спускается весна на городъ этотъ, одѣваетъ зеленью каштаны, синеватымъ дымомъ дали.

Таковъ пейзажъ генеральскій. Внутреннее-же положеніе: газета, которую подсовываетъ по утрамъ Валентина Григорьевна, прочитана. Кофе выпить. Есть кусочекъ чернаго хлѣба и луковица, но лукъ онъ ѣсть на ночь, заѣдая жаренымъ чернымъ хлѣбомъ: днемъ неловко, запахъ...

— Рѣдко-Конопленко, Рѣдко-Конопленко. . . Рѣдко-Рѣдко. . .

Подъ фамилію изъ объявленій легче ходить, при напѣвѣ похожемъ на барабанъ. (Если-бы Рафа присутствовалъ, это доставило-бы ему истинное удовольствіе. Онъ сказалъ-бы, что генераль «шутится». Но Рафа далеко).

Черный хлѣбъ очень пригодится. Кромѣ него ничего нѣтъ. Угля для печурки не съѣшь, да и его дала Дора Львовна. Изъ олимпиадиной рекомендаціи ничего не вышло: нанялся ужъ художникъ-французъ. Набѣжала за эти дни работишка — раздавать рекламы на улицѣ. Роздалъ, за три часа десять франковъ въ карманъ. Служба не предосудительная, но случайная. Въ тотъ-же день ночной шофферъ, капитанъ Бехтеревъ, завель въ бистро и за стойкою разсказалъ, какъ можно зарабатывать: бродить у подъѣзда знаменитаго публичнаго дома и ждать, когда русскій шофферъ привезетъ когонибудь. «Мы, русскіе», сказалъ капитанъ: «не звонимъ для ночного кліента — брезгаемъ. Французы звонятъ, получаютъ отъ дома франковъ по тридцати. Есть-же особые типы, которые ждутъ именно нашего брата, и какъ онъ остановится — разъ, позвонилъ. Ему и перепадаетъ».

Капитанъ разсказалъ это «такъ вообще», но генералу показалось, что не ему-ли рекомендуетъ онъ. . .

— Колоннами и массаами! Трахъ тарарахъ тах-тах...

И снова:

— Рѣдко-Конопленко, Рѣдко-Конопленко. . . — чудно маршируешь подъ такую фамилію.

Генераль именно и маршировалъ, когда въ дверь постучали.

Дора Львовна заглянула осторожно. Генераль любезно поклонился. Дора вошла, дѣловито окинула кухню (уголь кончился, на плитѣ готовки не видать. На столѣ чашка допитаго черного кофе. «Молока нѣтъ!»).

— Минѣ разъ въ недѣлю докторъ велѣлъ сидѣть дома, чтобы сердце не переутомлять. Сегодня именно такой день. Я хозяйничаю, сварила борщъ. Рафаила нѣтъ, одна я терпѣть не могу завтракать. Заходите ко мнѣ, Михаилъ Михайловичъ. . .

Она смотрѣла на него черными глазами внимательно, серьезно и благожелательно. «Я прекрасно понимаю, что ты гордъ и не захочешь показывать своего нищенства, но вѣдь и я зову тебя совсѣмъ просто, какъ равный равнаго».

Дора была осторожна: разумѣется, генераль не такой, какъ Капа, все-же опытъ показываетъ, что когда даже со здоровыми обращаешься какъ съ дефективными, выходитъ лучше.

Она приготовилась къ возраженіямъ. Но генераль сразу согласился.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ сидѣлъ уже у нея. Передъ нимъ тарелка борща со сметаной, въ борщѣ плаваютъ шкварки. Нашлась даже пузатенькая бутылочка съ травинкой — остатокъ зубровки отъ рафина рожденія. Генераль повеселѣлъ. Онъ уговорилъ и Дору выпить за здоровье «будущаго колониальнаго дѣятеля».

— Ну какъ онъ тамъ, на югѣ, а? Веселится? Смотрите, не оглянетесь, за дамами начнетъ ухаживать.

Дора засмѣялась. Рюмка зубровки прошла съ теплымъ туманомъ. Какой пріятный день — весенній! Въ

три придетъ Анатолій, можетъ быть, они вмѣстѣ уѣдутъ въ Фонтенбло, на недѣлю. . . и вообще, все должно-же выясниться. Но во всякомъ случаѣ отлично. Онъ сказалъ — нужно искать вмѣстѣ квартиру. Разумѣется. Хотя онъ и не ходитъ теперь къ Капитолинѣ, все-таки она на той-же лѣстницѣ.

— Мой Рафаиль все подъ вашимъ вліяніемъ, Михаилъ Михайловичъ. — Знаете, онъ и въ Ниццѣ, среди разныхъ еврейскихъ дамъ собираетъ на вашу церковь. . .

— Не церковь-съ, а скитъ, это мельхиседекова за-тѣя. Я и самъ не знаю, чтó изъ всего этого выйдетъ. Если такіе сборщики будутъ какъ я, то Никифоръ съ Мельхиседекомъ далеко не уѣдутъ. Развѣ вотъ Рафаиль выручитъ. Съ еврейскихъ, говорите, дамъ, на православныхъ монаховъ? Молодчинище!

Генераль откровенно захохоталъ. Дора тоже улыбнулась.

— А вы, кажется, дочь свою сюда ждете, изъ Россіи?

Генераль пересталъ смѣяться.

— Да, жду. Да, жду. Пока еще не выпустили. Семь разъ отказали. Но она упорная, упорная. Въ восьмой добивается. И нужны деньги. А вы думаете, ихъ легко мнѣ достать?

Дора знала о генеральской бутылкѣ съ полтинниками. Но сейчасъ не заикнулась: опытнымъ глазомъ видѣла, какъ онъ жадно ѣлъ — какіе ужъ тамъ полтинники. . . Впрочемъ она ошибалась въ одномъ: сбереженія были цѣлы. Генераль ихъ не тратилъ, но рѣшилъ: пока нѣтъ работы, копить нельзя. И насколько упоренъ былъ въ одномъ, столько-же и въ другомъ.



Новенькія монетки, попадавшіяся при сдачѣ, нѣсколь-  
ко жгли руку. Въ бутылку онъ ихъ все-же не клааь.  
«Безработный, не имѣю права-сь. . . долженъ держатъ-  
ся. Въ стрѣлки не пойду-сь. . .»

Завтракъ кончился. Генераль собирался уходить, по-  
дошелъ къ ручкѣ Доры. На лѣстницѣ послышались  
голоса. Дора отворила дверь. Генераль вышелъ на пло-  
щадку, высунулся въ пролетъ — быстро побѣжалъ  
внизъ. Дора нагнулась надъ перилами. Кого-то мед-  
ленно, поддерживая, вели навверхъ. Показалась фураж-  
ка шоффера, Людмила. Генераль поддерживалъ Капу  
съ другой стороны.

Ноги Доры похолодѣли. Неприятно было-бы двигать-  
ими. Капа безцвѣтными, нѣсколько осоловѣлыми гла-  
зами провела по всему окружающему, пока Людмила  
вставляла дверной ключъ. Запахло людмилиными ду-  
хами.

Черезъ нѣсколько минутъ, уложивъ Капу, Людмила  
мыла въ кухнѣ руки. Ея худое, изящное тѣло было въ  
нѣкоемъ волненіи. Брызги изъ-подъ крана попадали  
на рукава.

— Вѣчныя съ ней исторіи. Въ двѣнадцать часовъ  
сѣла въ ресторанчикъ мерлана. И, конечно, именно  
ей и попался несвѣжій. Тошнота, рвота. . . хорошо, что  
и я нынче случайно тамъ завтракала. . .

Дора стояла лицомъ къ свѣту. Была нѣсколько блѣд-  
на, черная выбившаяся прядь, какъ и древніе глаза,  
придавали ей оттѣнокъ Рахили.

— А какой у ней пульсъ?

— Я того-же самага мерлана ѣла — мерланъ какъ

мерланъ, ничего не случилось. . . Ну, впрочемъ, вѣдь это Капка. У насъ въ Севастополѣ пароходъ одинъ такой былъ. То пожаръ на немъ, то взрывъ большевики устроили. Выйдетъ въ море, сейчасъ буря. Просто двадцать два несчастія. Назывался онъ какъ разъ «Капитолина».

— У нея сердце слабое, сказала Дора. — Я еще по гриппу помню. У меня есть дигиталисъ. А вы пульсъ пока посчитайте.

Генераль поднялся наверхъ («если что нужно, пусть постучать въ потолокъ»). Дора прошла къ себѣ, принялась разбирать на полкѣ скляночки. «Я снова при ней. . . Сейчасъ придетъ Анатолий, а я тутъ». Все получается какъ-то странно. «Пароходъ Капитолина. . .» Эта угловатая дѣвушка со своими глазищами и невропатологической конституціей просто входитъ въ ея жизнь. Дора знала себя. Теперь ужъ не можетъ она не найти дигиталиса (да и вотъ онъ, какъ разъ, съ бѣленькою наклейкой, капельницей при склянкѣ). Доктора никакого не надо. Эта Людмила посидитъ десять минутъ, оставитъ слѣдъ дорогихъ духовъ и уѣдетъ въ *maison*. Но кормить и лѣчить будетъ она, Дора, полу-докторъ, полу-массажистъ, полу-благодѣтель человечества. «Это всегда такъ и было. Деньги, помощь, лѣкарство, это я. Тотъ самый Богъ, въ котораго вѣрятъ генераль съ Рафаиломъ и всѣ рафаиловы архіереи, выбралъ для разныхъ христіанскихъ дѣлъ меня, еврейку, а не христіанку». По добросовѣстности своей, Дора тотчасъ-же поправила: «Впрочемъ, я не возражаю. И не отказываюсь. Тѣмъ болѣе, что и Богъ, если онъ существуетъ, конечно, одинъ и для христіанъ и для евреевъ».

Все это такъ — и все-же. . . что-то связывало ее съ этой «Капитолиной». И не спрашивали ее, хочетъ она того, или нѣтъ.

Когда Дора вернулась, Людмила грѣла на кухнѣ воду. Пульсъ оказался, конечно, слабый. Капа покорно приняла дигиталисъ. Лежала на постели укрытая старой шубкой, остроугольная, ставшая совсѣмъ небольшой. Дора сидѣла съ ней рядомъ, будто здоровье и судьбу ея взвѣшивала на медицинскихъ вѣсахъ бѣлыми своими руками.

— Теперь вамъ будетъ лучше. Сердце правильнѣй заработаетъ. Организмъ легче одолѣетъ яды.

Дора говорила ровно, твердо, какъ съ больными. Но собственное ея сердце, хоть безъ дигиталиса, билось довольно сильно — нѣсколько больше, чѣмъ бы полагалось. «Все равно, надо молчать, сохранять спокойствіе».

Она не потеряла его и когда раздался стукъ въ дверь ея квартиры.

— Ко мнѣ прачка. Я потомъ зайду еще. . .

— Людмила, сказала Капа, когда она ушла. — Какъ ты думаешь, справедливость существуетъ на свѣтѣ?

— А на чтó она тебѣ?

— Ну, да такъ это я говорю, вообще. . .

— Нѣтъ. Не существуетъ.

— И я такъ думаю.

Людмила не весьма одобряла философствованья. И промолчала. Но полежавъ немного, Капа опять заговорила.

— Эта Дора ко мнѣ всегда очень добра. Я ничего.

кромѣ хорошаго, отъ нея не видала. И все-таки ее не люблю. Развѣ это справедливо?

Она перевела на Людмилу сѣрые, пещерные глаза, и вдругъ холодно доложила:

— Просто не люблю! Она сидѣлка изъ больницы.

Людмила усмѣхнулась.

— Твое дѣло. И твое право. А въ жизни, милая моя, существуетъ только сила, ловкость, да удача.

— А у кого нѣтъ удачи?

— Нѣтъ, Капка, я не стану съ тобой разглагольствовать. На-ка вотъ тебѣ грѣлку.

И положила ей къ ногамъ горячія бутылки.

— Я эту Дору вовсе и не хочу видѣть, а она тутъ. Если-бы Анатолій зашелъ. . . но его именно и нѣтъ. Совсѣмъ пропалъ. Все дѣла, дѣла. Въ Фонтенбло надо картины американцу предлагать. . .

«Все вретъ, разумѣется, какіе тамъ американцы» (Людмила вслухъ этого не сказала).

— Говорить, если хорошо заработаетъ, повезетъ меня лѣтомъ на югъ.

На мѣстѣ Доры сидѣла Людмила. Глаза ея, дѣйствительно, были сини и холодноваты. Но Капа съ любовью взяла ея длинную руку, съ тонкими, такими изящными пальцами, погладила.

— Я думаю, онъ никуда меня не повезетъ.

Теперь людмилину руку поднесла къ глазамъ, поцѣловала.

— Какъ мнѣ тепло отъ твоей грѣлки. Я скоро оправлюсь. Очень тебя люблю.

Людмила докурила, рѣшительно затушила окурокъ, нагнулась къ Капѣ. Въ глазахъ ея что-то дрогнуло. Она поцѣловала Капу.

— Ну, если у меня одно дѣльце удастся, то тебѣ дѣйствительно перепадеть. Тогда везу тебя въ Жуанъ-лэ-Пэнь.

\* \*

\*

Анатолій Иванычъ сидѣлъ на соме, слегка разставивъ ноги. Пестрые носочки выглядывали изъ-подъ брюкъ, чудно разглаженныхъ. Блестѣли ботинки. Голубые глаза его ласково улыбались, свдоватые волосы разобраны на боковой проборъ. Увидѣвъ Дору, онъ всталъ, все улыбаясь, поцѣловалъ ей руку.

— Дорочка, я страшно радъ васъ видѣть.

Дора Львовна, слегка смутившись, поцѣловала его въ лобъ.

— Ну, и я тоже. . . Да, видите, какая исторія.

Она рассказала про Капу.

— У нея сердце слабое. Сами по себѣ явленія отравленія не сильны, все-таки, я дала дигитались.

— Ахъ, Капочка. . . да, бѣдная Капочка.

— Понимаете, вѣдь она лежитъ тутъ совсѣмъ рядомъ, чуть не за стѣной.

— Да, за стѣной. . .

— Опасности нѣтъ, но. . . да.

Дора Львовна не совсѣмъ могла выразить, что то ее смущало. Надо бы ѣхать въ Фонтенбло. . .

Анатолій Иванычъ разсѣянно, непокойно пробѣжалъ глазами по комнатѣ.

— Дорочка, вы знаете, у меня такія дѣла. . . Но на ближайшихъ дняхъ должно выясниться. Мы съ Олим-

падой Николаевной одну перуанку обрабатываемъ, если удастся — а уже на девяносто процентовъ удалось, она въ принципѣ покупаетъ. . . то не менѣе тридцати тысячъ. Все это требуетъ расходовъ. . . ахъ, ужасно трудно, Дорочка. . .

Дора Львовна сидѣла, слегка потирая крѣпкія свои руки. Ей опредѣленно теперь казалось, что рѣка, довольно быстрая, съ нѣкимъ головокруженіемъ въ водоворотахъ, несетъ ее. . .

— Только бы мнѣ сейчасъ перевернуться, эти нѣсколько дней. А тамъ. . .

— Будемъ говорить прямо, — голосъ Доры былъ покоенъ, лишь слегка глуше. — Нужны деньги? Сколько?

Анатолій Ивановичъ изобразилъ на лицѣ тревогу, удивленіе, нѣкоторое волненіе.

— Мнѣ. . . мнѣ ужасно неловко.

Дора Львовна встала.

— Я не Стаэле, сказала она, подходя къ письменному столу. — Больше пятисотъ не могу дать.

— . . . Черезъ нѣсколько дней. . .

Она улыбнулась.

— Ну, тамъ увидимъ.

Въ окно глядѣло все то-же нѣжно-голубоватое небо съ сѣткою тонкихъ вѣтвей садика Жанень. Въ фонтенблосскомъ лѣсу грандіозные дубы еще сложнѣе, могущественнѣй простираютъ ввысь арматуру свою. Какъ далеко!

«Что-же тутъ удивительнаго? Развѣ могло быть иначе?»

Дора опять сѣла, у окна. Анатолій Ивановичъ спрятавъ бумажникъ. По лицу его вѣтерокъ носилъ улыбку.

ку — смѣсь ласковости и униженности — что-то хотѣлъ сказать, да не выходило.

— А въ Фонтенбло соберемся, какъ только немножко съ дѣлами. . .

«Это естественно. Вольно-же мнѣ было лѣзть со своими романами».

— Дорочка, вы какъ-то разстроились, почему это?

Онъ подсѣлъ совсѣмъ близко, взялъ ея руку, гладилъ, пристально на нее уставился. Опять глаза измѣнились. Въ голубизнѣ ихъ что-то подрагивало, влажнѣло. Дора тоже пристально на него смотрѣла. «Нѣтъ, все-таки не жиголо. Все-таки онъ не жиголо».

— Если вамъ неприятно, что я попросилъ займы, то могу вернуть. . .

«Если-бы былъ настоящій жиголо, проще бы и вышло». Онъ отнялъ руку, потянулся къ боковому карману съ бумажникомъ. Глаза, въ тайнѣй глубинѣ своей отразили такую тоску. . . Дора улыбнулась.

— Мнѣ ничего не неприятно.

Онъ въ нерѣшительности остановилъ руку — ѣхатель ей дальше за бумажникомъ, повернуть-ли къ ласкѣ Дориной руки? Но послѣднее было пріятнѣй. И выгоднѣе.

— Я самъ очень стѣсняюсь брать у васъ. . . но всего на нѣсколько дней.

— Напрасно стѣняетесь. Ничего нѣтъ плохого.

«Какъ глупо, что я Рафаила отправила. Ахъ, какъ все глупо!»

— Насчетъ Фонтенбло вы не оправдываетесь, сказала она вдругъ твердо, какъ полагалось Дорѣ прежнихъ, разсудительныхъ лѣтъ. — Куда-же тамъ ѣхать.

И встала. День кончался. Нѣкая дверь захлопнулась. Изъ-за той двери, тѣмъ-же разумнымъ голосомъ произнесла Дора:

— Мнѣ пора къ Капитолинѣ Александровнѣ. Во всякомъ случаѣ, надо слѣдить за сердцемъ. Я-бы совѣтовала и вамъ зайти, но позже. Не надо, чтобы она знала, что вы были здѣсь.

\* \*

\*

Людмила, дѣйствительно, скоро ушла. Дора смѣнила ее, какъ разъ во-время сняла грѣлки, дала теплаго молока, помѣрила температуру, вообще захватила Капу въ нѣкую медицинскую сѣть. Капа испытывала двойное чувство: раздраженія и необходимости быть благодарной. Чтó она могла возразить? Въ чемъ упрекнуть? Дора дѣлала все первосортно. Все — необходимое и полезное. Людмила была мила, но уѣхала. Дора-же вѣхала. Людмила подруга, Дора сосѣдка. Но изъ дориной сѣти не выбьешься, да и выбиваться не надо — все вѣдь и правильно, и полезно. Сопротивляться нельзя. «Если она сейчасъ банки рѣшить ставить, то и поставитъ, если найдетъ полезнымъ дать касторки, проглочу». А если не было бы Доры? «Ну, и лежала-бы одна, какъ собака... развѣ генераль-бы зашелъ...» Значить, нельзя не быть благодарной.

А Дора какъ нарочно въ ударѣ — вся полумедицина эта ее заплонила.

Физически Капа чувствовала себя къ вечеру уже прилично. Она лежала съ прищуренными глазами.



смотрѣла, какъ Дора, у стола, въ большихъ роговыхъ очкахъ, читала газету. Капа — одна замкнутая крепость, Дора другая. Дора не знала, что дѣлается въ этой головѣ съ сѣрыми глазами, полуприкрытыми. Дора для Капы далеко не та, что въ дѣйствительности — и за бѣлыми ея руками нельзя распознать, что газету она читаетъ машинально, мало что понимая. Но чувствовали обѣ одно общее: невесело, неловко другъ съ другомъ.

— Какъ вы думаете, много въ меня яду попало?

Дора отложила газету, сняла очки.

— Не особенно. Все-таки, этотъ рыбій ядъ очень силенъ.

— Еще какую-нибудь косточку пососала бы и конецъ?

— Возможно.

Капа помолчала.

— Нѣтъ, гадость эти отравленія. Я бы травиться не стала.

— Ну еще-бы, надѣюсь!

«Хорошо надѣяться... Здоровенная, живетъ отлично, сына обожаетъ».

И не совсѣмъ доброжелательно спросила Капа:

— Что-же, вы очень боитесь смерти?

Дора смотрѣла на нее пристально. Черные ея глаза, овальнаго разрѣза, носъ съ горбинкою, полноватая щеки показалось Капѣ особенно еврейскими.

— Всякій разумный человекъ боится смерти.

— А я не боюсь, сказала Капа вызывающе. — Я даже люблю смерть. Во всякомъ случаѣ, больше чѣмъ жизнь.

— Люблю смерть. . . Не очень-то вѣрю, что это вы серьезно.

Капа почувствовала глухое раздраженіе. Что-то злое въ ней подымалось.

— Вы, евреи, особенно всегда цѣпляетесь за жизнь. Животное чувство!

Дора тоже начала волноваться.

— Вы признаете и самоубійство?

Капа поморщилась.

— Гадость. Мерзкое занятіе. Крюкъ, петля, или разные эти вероналы. . .

— По христіанскому ученію, какъ я слыхала, самоубійство грѣхъ?

— Считается. Мало-ли что считается.

— Вы-же вѣдь сами противъ.

— Противъ. Но грѣхъ или не грѣхъ, это совсѣмъ другой вопросъ.

— Я не знаю, грѣхъ или нѣтъ, сказала Дора. — Но по моему самоубійство слабость. Вы упрекаете насъ въ животномъ чувствѣ, но если мы боимся смерти, то не боимся жить. А вѣдь бываетъ такъ, что для жизни не меньше нужно мужества, чѣмъ чтобы умереть.

Капа отвернулась къ стѣнѣ.

«А я, можетъ быть, какъ разъ жить то и боюсь, но все равно никогда ей этого не скажу. Не люблю, и не скажу. Она добродѣтельная, а я не люблю. И вообще ничего не хочу говорить. Вотъ еще, затѣяли философскія разсужденія. . .»

Дора надѣла роговые очки и опять принялась за газету. Сердце ея билось. Она читала о какихъ-то смѣнахъ въ министерствѣ и о томъ, что въ Германіи

неспокойно. Теперь уже все понимала, но волнение ея не улеглось — скорбь даже возрасло, лишь въ нѣсколько иную сторону. Мало было дѣла до министерствъ, партій и раздоровъ. Все это скользило. И не удивилась она за своими очками, когда вдругъ изъ-за газетнаго листа выплыла набережная Ниццы. Аккуратный мальчикъ въ спортивныхъ штанахъ поглядѣлъ на нее милыми, темными глазами. Рафа, Рафа. . . И онъ, конечно, уйдетъ. Но сейчасъ еще съ ней, какая радость. . . Въ сущности, вѣдь сегодня ничего и не произошло. . .

На поверхности это такъ, въ глубинѣ не совсѣмъ, но сейчасъ Дора больше была склонна къ поверхности, и заглушая въ себѣ что-то, перестраивалась на обычный ладъ — какъ неразбитая армія на другой день послѣ не совсѣмъ удачнаго сраженія.

— Дора Львовна, сказала въ нѣкій моментъ Капа со своей постели, изъ глухого, одинокаго своего міра: я совсѣмъ отдышалась. Благодарю за заботу. Идите, что-же вамъ тутъ со мной. . .

Дора ее осмотрѣла, и нашла, что, правда, ей много лучше.

— Я пришлю къ вамъ Валентину Григорьевну. А передъ сномъ зайду сама.

## УДАЧИ

Перуанка живетъ въ Булони, недалеко отъ парка. Такси летитъ по длинной, прямой аллеѣ, мимо оранжерей. Кое гдѣ зелень, нѣжная еще, весенняя. Цвѣты промелькнули. Каштаны, сводомъ нависающіе. Анатолій Иванычъ держитъ между колѣнъ небольшую картину, тщательно завернутую и перевязанную. Смотритъ на счетчикъ. Никакія почки, шелка Веронеза въ небѣ не занимаютъ его. Въ карманѣ семь франковъ. На поворотѣ выскочила цифра девять. Машина несется теперь по авенюе Victor Hugo. Анатолій Иванычъ снялъ шляпу, обтеръ лобъ.

Остановились у хорошей виллы — съ рѣшеткой, чистымъ палисадникомъ, дроздами въ немъ, съ плавнымъ блескомъ зеркальныхъ стеколъ. Калитку открылъ человекъ въ фартукѣ. Анатолій Иванычъ держалъ теперь картину подмышкой, и слегка разставивъ ноги въ брюкахъ свѣжѣйшихъ, вопросительно на него смотрѣлъ.

— Madame только что выѣхала.

— Миѣ назначено въ три съ половиной.

Фартукъ спросилъ имя.

— Да, есть письмо. Сейчасъ.

И зашагалъ въ домъ. Анатолій Ивановъ такъ-же стоялъ, въ той-же позѣ. Шелка Веронеза съ неба отражались въ глазахъ его, сзади счетчикъ нащелкивалъ за стоянку.

Письмо оказалось кратко — не увѣрена, сможетъ ли купить, просить обождать. Черезъ недѣлю сообщитъ окончательно.

Анатолій Ивановъ вновь отворяетъ дверцу такси.

Снова Булонь, въ обратномъ потокѣ, а затѣмъ и весенній Парижъ — по заказанному, въ мгновенномъ прозрѣннн адресу. «Ну, а если и того нѣтъ дома?»

Остановились близъ Этуали, у подъѣзда антиквара. Анатолій Ивановъ не глядѣлъ уже на счетчикъ. На него-же смотрѣли изъ двухъ небольшихъ оконъ лукутинскія табакерки, иконы въ серебряныхъ окладахъ, старинные перстни, ждущіе покупателя.

Хозяинъ, веселый русачекъ изъ неунывающихъ, встрѣтилъ очень привѣтливо.

— Денегъ? Сію минуту!

Вынулъ бумажникъ, осмотрѣлъ, спряталъ, отодвинулъ ящикъ стариннаго столика съ инкрустаціями. «Ахъ, скажите вы ей, цвѣты мои, какъ люблю я ее-е...»

— Не видать, не видать. . . Да, въ жилетѣ посмотрѣть, во вчерашнемъ.

Въ жилетѣ оказалось три франка.

— У меня тутъ такси, надо заплатить. . . Анатолій Ивановъ блѣдновать, но русакъ успокаиваетъ.

— Пустяки, подождите минуту, я тутъ у знакомаго портѣе всегда занимаю.

И выхвативъ голубенькій платочекъ-пошетку, слегка надушенную, выскочилъ безъ шляпы на улицу. Его стриженная голова промелькнула на тротуарѣ — «какъ люб-лю-ю... я е-ее...»

Анатолій Ивановичъ сидѣлъ молча. Глаза безсмысленно глядѣли на улицу. Автомобили, каміоны, пѣшеходы въ нихъ проплывали.

Хозяйская голова вновь прослѣдовала подъ окнами — въ обратномъ направленіи. Въ лавкѣ онъ слегка загрустилъ.

— Вообразите, у портѣе какъ разъ нынче выходной день! Онъ мнѣ всегда охотно... сотню, другую... А такси ваше все тутъ...

Анатолій Ивановичъ ослабѣлъ. Тошій утренній кофе у стойки, хлопоты, волненія дня... Забраться-бы подъ столикъ у витрины, притулиться, тихо сидѣть, чтобы никого, никого... и такси проклятаго-бы не было...

Вдругъ хозяинъ взялъ его за руку, другую поднялъ, въ знакъ молчанія — нѣмая сцена, какъ изъ Ревизора. Но не жандармъ въ дверяхъ, женская голова остановилась предъ витриной. Анатолій Ивановичъ пригнулся. Хозяинъ его какъ-бы гипнотизировалъ — да пожалуй и ту, на улицѣ?

И вотъ наружная голова медленно повернулась, въ направленіи входа. Англичанка вошла, дѣйствительно, въ первую комнату, и туда-же выпорхнулъ хозяинъ, и на заморскомъ своемъ языкѣ изъяснила она, что хочетъ купить небольшую икону.

Такъ внезапной Судьбой появилась англичанка въ апрѣльскій день въ лавкѣ, и оставивъ двѣсти франковъ, съ посредственною иконкой удалилась въ пространство. Хозяинъ-же вскочилъ во вторую комнату — предъ носомъ Анатоля Ивановича положилъ сотню.

— Вывезла! Вы-вез-ла!

И вновь прискакнулъ.

Ушла вся гроза такси.

\* \* \*

\*

Худенькая старушка Зоя Андреевна съ утра ушла — понесла сдавать разрисованныя сумочки. Давно апрѣльское солнце стоитъ надъ переулкомъ. Но Валентина Григорьевна еще въ постели: долго сидѣла ночью надъ платьемъ къ сроку. Солнце пустило золотой ножъ сквозь щель портьеры — онъ перемѣщался и доползъ до свѣтловолосой головы, полной «складовъ», «сборовъ», «годэ». Усталая голова не двинулась. По улицѣ, куда глядѣло окно, медленно проходилъ съ козами овернскій пастухъ. На дудочкѣ наигрывалъ простенькій напѣвъ (точно и не въ Парижѣ находишься — въ далекой деревенской странѣ). Этой дудочкой предлагалъ козѣ молоко, тутъ-же выдавая. Или кусочекъ овечьяго сыра — сыръ везъ на двуколкѣ.

Козы мирно постукивали копытцами. Мелодія переливала двумя, тремя нотами. Каштаны въ саду распу-

стались зеленью свѣтлой — скоро зацвѣтутъ: одинъ бѣлыми свѣчками, другой розовыми.

Валентина Григорьевна проспала дудочку — хоть и любила ее («безусловно пастушокъ хорошо играть, но у насъ въ Сапожкѣ развѣ такое было стадо!»). Она проснулась позже, когда золотой ножъ ползъ уже по стѣнѣ. Въ комнатѣ было тепло, надышано, слегка пахло духами.

На столѣ недодѣланное платье, утюгъ, булавки, ножницы — все нехитрое вооруженіе портнихи. Понѣжившись, Валентина Григорьевна встала. Какъ всегда, накинула розовый халатикъ, довольно «миленькій», вышла въ столовую, гдѣ спала Зоя Андреевна. Столовая какъ столовая, и старушка, уходя, оправила свое сомье, на столѣ холодный кофе. Все какъ будто обычное — и вдругъ сердце остановилось: лѣвый уголь — потокъ, ручей, съ потолка струящійся. Уже озеро на полу, обои холмисто вспузырились по пути новой рѣки. «Боже мой, наводненіе!» Какъ была въ розовомъ халатикѣ, лишь придерживая бюстъ, выскочила на лѣстницу, кинулась наверхъ, въ коридоръ одиночныхъ комнатъ.

У Левы выходной день. Онъ пришилъ уже себѣ двѣ пуговицы, разгладилъ брюки и занялся дѣломъ деликатнымъ: разоблачилъ сомье, поставилъ стоймя и изъ насосика, заранѣе припасеннаго, сталъ опрыскивать флейтоксомъ. Лева аккуратень и хозяйственъ. Одѣтъ прилично, «чистенько», изъ заработка откладываетъ, и мечтаетъ купить кусокъ земли подъ Парижемъ. На сберегательной книжкѣ у него тысячъ десять.

Стукъ въ дверь смутилъ его. Развороченное сомье, подозрительный запахъ. . .



Никакъ не улыбалось, чтобы застали за этимъ занятіемъ. Быстро накинулъ пиджакъ, проскользнулъ въ коридоръ: дверь за собою закрылъ,

— Левъ Николаичъ, прямо ужасъ, къ намъ течеть, короче говоря, какъ рѣвка сверху, навѣрно кранъ забыли закрыть. . .

Изъ подъ двери сосѣдней комнаты выступила въ коридоръ лужица, все увеличивающаяся.

— Это у проклятаго китайца. . . ушелъ, мерзавецъ, забылъ кранъ закрыть. . . То-то я слышу, журчитъ что-то рядомъ въ комнатѣ. . .

— Въдъ насъ тамъ затопить. . .

— Не безпокойтесь, Валентина Григорьевна. . .

Лева въ свое время воевалъ, наступалъ и отступалъ — вообще видѣлъ виды. Его худое лицо, съ красивыми глазами, было довольно твердо и не нервно. Онъ ясно зналъ, гдѣ правая сторона, гдѣ лѣвая, какъ сидѣть у пулемета или за рулемъ.

— Консьержку, консьержку, кричала Валентина Григорьевна.

Лева пробовалъ открыть своимъ ключемъ. Ключъ не подходилъ. Внизу, на генераловой площадкѣ, отворилась дверь.

— Что такое? спросилъ генераль громко, недовольно. — Въ чемъ дѣло? Кто шумить?

Но Лева уже летѣлъ къ нему.

— А-а. . . наводненіе! Такъ, та-а-ак-съ. . . Желаете попробовать моимъ ключемъ? Могу.

Лева оказался очень быстръ въ движеніяхъ. Но генераль тоже заинтересовался — медленно сталъ подыматься, въ пиджачкѣ своемъ, еще небритый, съ такимъ видомъ, какъ оберъ-полицеймейстеръ прибыва-

еть на пожаръ. Вѣжливо, но «съ достоинствомъ» поздоровался съ Валентиной Григорьевной.

— Короче говоря, какъ рѣка у насъ по стѣнѣ. . .

— Да, ужъ эти домишки. . . Н-да, разумѣется. А?

— Молодецъ поручикъ, поглядите, открылъ.

Лева съ сосредоточеннымъ, почти злымъ лицомъ, точно врывался во вражескіе окопы, вскочилъ въ комнату сосѣда.

— Непрiятельская позиція взята, сказалъ генераль. — Трах-тарыхъ-тах-тах, колоннами и массаами. Хотя по законамъ республики и нельзя взламывать чужихъ дверей, но для русскихъ орловъ нѣтъ законовъ. . .

Лева быстро закрылъ кранъ. Бѣдствіе прекратилось. Началась идиллія. Валентина побѣжала къ себѣ за тряпками, Лева пустилъ въ ходъ свои. Хотя онъ и быстро открылъ и закрылъ дверь, генераль успѣлъ увидать водруженное ложе. Пахнуло флейтоксомъ.

— Осторожнѣй съ огнемъ, поручикъ, выведение клоповъ преопасная штука. . .

Лева сердито на него взглянулъ. Снизу подымалась раздумянившаяся, засучивъ рукава, съ тряпками и шваброй Валентина Григорьевна.

Китайскую комнату быстро подтерли. Дверь опять заперли. Генераль поглядѣлъ, сдѣлалъ два три замѣчанія. Въ виду успѣшнаго конца боя, отбылъ къ себѣ въ штабъ.

— Ну это прямо какое-то безобразіе, говорила Валентина Григорьевна. — И при томъ, надо еще у насъ въ квартирѣ убраться. . . просто хоть на лодкѣ плавай.

Лева вызвался помочь. Это естественно. Хотя видѣлись не часто (слишкомъ завалены работой оба), все-же нѣкая дружески-кокетливая близость установилась. «Безусловно порядочный человекъ, почти красавчикъ, чистенько одѣтъ». «Вполнѣ пріятная дама, очень...» — тутъ Лева загадочно про себя улыбался. «И отличная хозяйка».

Благополучные пожары, кораблекрушенія сближаютъ. Лева и Валентина Григорьевна чувствовали уже себя соратниками. Въ столовой порядокъ быстро восстановился — Валентина все подтерла. Тѣло ея легко и весело изгибалось, лишь рукою упорно, и стыдливо придерживала она воротъ халатика — чтобы не распахнулся.

— Теперь въ общемъ по человѣчески. Я всегда была чистюлей. Мамаша, разумеется, ужаснется, но кто же виноватъ? А вотъ, если вы смелете кофе, то у насъ уже и пти деженэ готовъ...

Лева молоть съ удовольствіемъ. Валентина кипятила молоко, потомъ передъ нимъ мелькала ея бѣлая шея, очень нѣжная и теплая. Солнце свѣтило, каштаны зеленѣли.

— Какая вы... хозяйственная. (Лева хотѣлъ сказать что-то другое, но не вышло).

— Видите, кофе въ два счета. Въ нашей жизни безусловно на всѣ руки надо: и тебѣ фасончикъ для дамочки, и на кухню, и стирка... Миѣ покойный мужъ еще говорилъ: ну, ты у меня быстрая... А ужъ мой характеръ такой — люблю, чтобы все вокругъ кипѣло, терпѣть не могу скукоты всякой...

«Да ужъ съ ней не соскучишься», думаль Лева, глядя на ея кругловатое и миловидное лицо съ мелкими чертами, свѣтлыми и немудрящими глазами — все вывезено изъ родного Сапожка, и никакія Европы ничего не подѣлають.

— Ужасно какъ томительно одному жить, сказалъ вдругъ Лева. — Возвращаешься, знаете, вечеромъ, какъ въ берлогу.

— Это, разумѣется, понятно.

— Цѣлый день машина да машина. Только и смотришь, кого-бы шаргнуть. Нервы устають. На минуту зазѣвался — аксиданъ. Контравансіонъ.

Онъ задумался.

— Тогда вамъ надобно жениться, вдругъ сказала Валентина.

— Изъ нашихъ многіе и на француженкахъ женятся. . . — Лева говорилъ нѣсколько смущенно, точно оправдывался за «нашихъ». — Впрочемъ, есть и рускія.

Валентина Григорьевна встала.

— Конечно, и на француженкахъ. . .

Лева не совсѣмъ понялъ, но какъ-то само вышло, онъ взялъ ея за руку. Сѣрые его глаза, красивые глаза, на Валентину уставились.

— Но есть и рускія. . . Рускія-то сердцу ближе, смазаль тихо, глухо.

Валентина Григорьевна покраснѣла.

— Пустите руку. . .

Но онъ крѣпче пожалъ ея.

— Рускія-то сердцу ближе.

— Ну вотъ, какъ это все... въ общемъ... такой разговоръ...

Руки она не отняла.

\* \*

⋆

Капа спускалась по Елисейскимъ полямъ. Воскресенье, шесть часовъ вечера. Свѣрющий, струнный воздухъ. Арка и обелискъ вдали мерцаютъ — плавно катится къ нимъ, легкой дугою, двойная цѣпь уходящихъ платановъ. Плавно летятъ, двумя потоками, безъ конца-начала машины, поблескивая, пуская дымокъ. Вѣчная международная толпа на тротуарахъ.

Капа хмуро глядѣла. Парижъ, Парижъ... Знаетъ она эти авеню, сухихъ крашенныхъ дамъ, узенькихъ, худенькихъ, со стеклянно-пустыми глазами, всѣ зеркальныя стекла съ автомобилями. Собачки, синема, запахъ бензина и духовъ, молодые люди въ широкихъ штанахъ, съ прямоугольными плечами.

Въ большомъ кафе назначила ей встрѣчу Людмила. Сквозь воскресную толпу за столиками не совсѣмъ ловко прокладываетъ она себѣ дорогу. Не сразу Людмилу и найдешь! Но усѣлась она удобно — предъ фонтанчикомъ съ водоемомъ. Слѣва оркестръ. Диванъ мягкій. Въ грушевидной рюмкѣ порто.

— Опаздываетъ Капитолина, какъ всегда! Медленный пароходъ. Да, и тебѣ порто. Я угощаю. И везу обѣдать съ Андрэ.

Капа садится. Черный свой выходной костюмчикъ недавно взяла изъ чистки, но угловатость, пещерность глазъ, но походку не передѣлаешь. Въ кондитерской

за прилавкомъ это одно — здѣсь чуждо все. Порто слегка туманить. Веселить-ли?

Людмила поигрываетъ длинными пальцами, закуриваетъ папиросу. Оркестръ играетъ. Духовитыя дамы толкутся. Капа устремляетъ къ ней взглядъ сѣрыхъ глазъ.

— Это кто-же, Андрэ?

— Инженеръ французскій. Мой товарищъ — компаньонъ.

— Компаньонъ!

Людмила смѣется.

— Ты думаешь: un petit vieux bien propre, qui craque bleus?

— Я ничего не думаю.

— Капка, мнѣ въ концѣ концовъ повезло, какъ и полагается. Помнишь, я говорила, что одно дѣло налаживается? Вотъ и выходитъ.

Капа улыбается.

— Ну и что-жъ, онъ тебѣ хоть женихъ?

— Тамъ видно будетъ. Вродѣ этого. Но главное, я сказала: компаньонъ.

Капа совсѣмъ смѣется.

— Людмила акціонерное общество основала? Банкъ открыла?

Людмила смотритъ длинными, прохладными глазами.

— Не смѣйся. Слушай.

И за столикомъ елисейскаго кафэ начинается странный разговоръ русскихъ дѣвушекъ. Вѣрнѣе, рассказъ. Одна, скромно одѣтая, и угловатая, слушаетъ — отхлебываетъ временами порто. Другая, высокая и на-

рядная, рассказываетъ. Еслибъ тургеневская Лиза забрела сюда, третья?

... — Я одно время интересовалась серебряными ларцами. Есть такая работа — эмалью по серебру. А тутъ въ мэзонѣ у насъ дѣла все хуже и хуже, рассчитываютъ, сокращаютъ. Я къ антиквару одному: «Какъ насчетъ такой работы?» Онъ — вотъ ужъ *un petit vieux bien propre!* — аккуратный такой старичекъ, у котораго навѣрно молоденькая содержанка: поморщился, говорить: эмалью неинтересно. Мастики бы какую-нибудь открыть...»

Румыны играютъ. Дамы входятъ, выходятъ. Фонтанчикъ поплескиваетъ, сумерки чуть густѣютъ: скоро бѣлый свѣтъ вспыхнетъ. И видно въ рассказѣ, какъ начинаетъ Людмила, бросивъ кутюръ, заниматься мастиками, катаетъ тѣста химическія, пробуетъ такъ и этакъ. Знакомится съ молодымъ инженеромъ — онъ какъ разъ химикъ. И помогаетъ. Но ничего не выходитъ. Людмила не отчаивается, продолжаетъ мѣсить составы.

— Ну тутъ-то, милая моя, и начинается!

Она закуриваетъ новую папиросу, она возбуждена. порозовѣла, но собой владѣетъ.

— Ты вообрази: заходитъ какъ-то вечеромъ комнѣ Дора Львовна, со своимъ мальчикомъ — одинъ массажъ у моей бывшей кліентки наклевывался. Рафаилу скучно, онъ начинаетъ все разсматривать у меня въ комнатѣ, трогать разныя мои шкатулки, вещички. И попадаетъ на эту самую мастику — послѣднее мое *création*. Мнетъ, катаетъ, изъ нея какой-то шарикъ. Потомъ слоняется по комнатѣ съ шарикомъ этимъ — вижу, къ стеклу его хочетъ прилѣпить — за

это уши надо бы надрать, но онъ такой важный и самоувѣренный... — однимъ словомъ, я не обращаю вниманія. Мы продолжаемъ съ Дорой разговоръ, вдругъ — трахъ, погасло электричество во всей квартирѣ. Что такое? Пробка перегорѣла? Нѣтъ, оказывается, пробка цѣла — ты представь себѣ, этотъ типъ отъ скуки взялъ да и ткнулъ шарикъ мастики моей въ выключатель — онъ былъ не въ порядкѣ... — мастика залѣпила, все и выключила.

— Что-же тутъ хорошаго?

Людмила засмѣялась.

— Я и сама такъ думала, и Рафаилъ былъ смущенъ. Дора Львовна его пробрала. А на другой день я рассказываю объ этомъ Андрэ, онъ подумалъ минуту, говоритъ: «Очень серьезно...»

— Ничего не понимаю.

— Не нашего съ тобой ума дѣло. А оказалось: я случайно, дѣлая изъ разныхъ составовъ тѣста, наткнулась на такое, которое совершенно не-электропроводно...! Потому и погасло все сразу — онъ токъ прервалъ.

... Андрэ сталъ пробовать — результаты замѣчательные. Въ электрической-же промышленности какъ разъ надъ этимъ и бьются — именно не могутъ достигъ полной изоляціи. Мы съ Андрэ теперь патентъ взяли.

Капа усмѣхнулась.

— Такъ что ты, Людмила, вродѣ Эдиссона?

— Смѣйся. Отъ одной фирмы ужъ авансъ получили.

— А съ Рафой подѣлились?



— Не болтай глупостей. Мастику я открыла. Онъ мнѣ электричество испортилъ. Онъ и знать ничего не долженъ. Поняла?

Ея большіе, ставшіе вдругъ строгими глаза уставились на Капитолину. «Бросить всѣ эти глупости. Никакихъ нѣтъ Рафаиловъ и мастикъ. Тебѣ перепадетъ. И тебѣ только. А вотъ и Андрэ. Значить, семь часовъ».

## МЕЛЬХИСЕДЕКЪ

Кролики попрыгивали въ саду. Кудахтали куры. Monsieur Жаненъ, старенькій, худенькій, въ туфляхъ и заношенномъ рединготѣ окапываетъ кустъ крыжовника. Каштаны одѣваютъ зеленѣющей, струящеюся тѣнью крышу его дома и его куръ въ клѣткахъ, и его жену съ бархаткой на шеѣ. Каштаны зацвѣли! Одинъ бѣлыми, пухлыми свѣчками, другой розовыми.

Къ генералу постучалъ почтальонъ. «Изъ Россіи!» — мелькнуло у Михаила Михайлыча, когда онъ увидалъ книгу расписокъ. И замерло сердце, въ сжатіи холодѣющемъ. Но письмо вовсе оказалось не изъ Россіи, а за краснорожимъ почтальономъ появилась легкая сѣдая борода надъ монашеской рясой.

— А-а, милости прошу! Пожалуйста, о. Мельхиседекъ!

Въ маленькой прихожей произошла толчея: всѣ трое сгрудились у двери, и почтальонъ немало удивился, когда одинъ старикъ, въ поношенной военной гимнастеркѣ, сложилъ руки лодочкой, подходя къ другому въ рясѣ, и поцѣловалъ ему руку. А тотъ его въ

високъ. Нигдѣ въ почтовыхъ отдѣленіяхъ, ни въ бистро не видалъ Жанъ Лакруа такихъ странныхъ привѣтствій.

Военный старикъ не сразу нашелъ крестикъ противъ своей фамиліи, подписалъ и, сказавъ съ иностраннымъ выговоромъ: «attendez un moment» — сталъ шарить по карманамъ. Лакруа зналъ, что русскіе охотно даютъ на чай, даже невзрачные. Но тутъ вышла заминка — очевидно, не оказалось мелочи. Тогда старикъ въ рясѣ запустилъ руку въ свой карманъ, сказалъ что-то, и полтинникъ переѣхалъ къ почтальону.

— Спасибо, о. Мельхиседекъ, выручили. Радъ васъ видѣть, всегда радъ!

Мельхиседекъ перекрестился, вошелъ въ комнату.

— Давненько у васъ не былъ, Михаилъ Михайловичъ. По правдѣ говоря, и дѣлъ много, внѣ Парижа странствовать приходится.

Генераль вскрылъ ножичкомъ заказное письмо.

— Я оказался плохимъ вамъ помощникомъ, о. Мельхиседекъ: какъ, впрочемъ, и думалъ, да и васъ предупреждалъ. На подписномъ листѣ всего пятьдесятъ франковъ.

Мельхиседекъ поклонился.

— Сердечно благодарю. И отъ себя, и отъ лица братіи новооткрытаго Свято-Андреевскаго скита.

Генераль прочелъ письмо, улыбнулся.

— О. Мельхиседекъ, вы добрый вѣстникъ. Смотрите, въ письмѣ сто франковъ. Олимпиада Николаевна, дай Богъ ей здоровья. . . Ладно. Еще пять вамъ приписываю, на листъ. А скитъ, говорите, уже открыли? Ну, пожалуйста сюда, къ окошку.

Мельхиседекъ поблагодарилъ, сѣлъ въ небольшое креслице. Худыя свои руки сложилъ на колѣняхъ, слегка поигрывая пальцами.

— Открыли, Михаилъ Михайловичъ. О. Никифоръ уже геройствуетъ. Архіепископъ освятилъ.

— Такъ, такъ-съ, и великолѣпно. Поздравляю.

Мельхиседекъ помолчалъ.

— А вы какъ поживать изволите, Михаилъ Михайловичъ?

— Да ничего, ничего. . . Въ сущности, табаковати-сто — но крѣплюсь. Машеньку жду.

Онъ прошелся взадъ и впередъ, слегка пощелкивая за спиной пальцами.

— Да, жду, продолжаю ждать. И такія мысли приходятъ: ну, дождусь, пріѣдетъ она къ голодному отцу, да не знаю еще, гдѣ ее встрѣчу. За комнату третій мѣсяць не плачено. Пока терпятъ. Изъ-за прежняго. И что-же. . . еще на машенькины плечи себя встаскивать?

— Вы этого никакъ не знаете. Мало-ли какъ можетъ обойтись.

— У Машеньки, ужъ, будто, все готово. Черезъ три недѣли обязательно. Да вотъ и сомнѣваться началъ. Тянуть и тянуть ее, анаемы. . .

— Сами знаете, что за страна. — А вѣдь я, — Мельхиседекъ опять улыбнулся выщѣвшими, голубыми глазами: я вѣдь вамъ предложить хотѣлъ къ намъ съѣздить. Думаю: навѣрно ему нелегко, въ Парижъ этомъ, въ городъ-Вавилонъ, а у насъ-бы жили недѣльку-другую, вѣдь деревня, всего-то отсюда часъ ѣзды, и не дороже станеть, чѣмъ здѣсь по метро по этимъ околачиваться.

— Вы хитрый человекъ, о. Мельхиседекъ, я васъ давно въдъ знаю.

— Гдѣ-же тутъ хитрость-то, Михаилъ Михайловичъ?

— Ну, ужъ я знаю. . .

Генераль замолчалъ. Мельхиседекъ смотрѣлъ въ окно на жаненовскіе каштаны.

— У насъ въ обители древнія деревá. Много этихъ постарше — и поболѣе. Одинъ дубъ самъ святой сажалъ, говорятъ, основатель аббатства. И лѣсовъ кругомъ много. Тишина, благоуханіе. . . Намоленное мѣсто, Михаилъ Михайловичъ, сами увидите.

Генераль внезапно передъ нимъ остановился.

— Да, позвольте, и не договорилъ. — Тутъ у насъ въ домѣ еще одинъ благотворитель оказался, я и забылъ. . . А-а, ха-ха! Сейчасъ вамъ его доставлю. Этотъ посолонднѣ меня. Его съ колокольнымъ звономъ встрѣчать. . .

И генераль быстро прошелъ въ переднюю, отворилъ дверь на лѣстницу, вышелъ.

Черезъ нѣсколько минутъ стоялъ онъ передъ Мельхиседекомъ съ Рафой. У того въ рукахъ была бумажка.

— Подписной листь номеръ сорокъ третій. Позабыли, навѣрно, о. Мельхиседекъ? Мы еще тогда смѣялись, а посмотрите-ка. . .

Рафа былъ нѣсколько смущенъ, но сдерживаемая гордость въ немъ чувствовалась. Онъ поднялъ черные свои глаза на Мельхиседека.

— Я ѣздилъ въ Ниццу и жилъ тамъ у одной моей тети Фанни. Она позволила мнѣ собирать на вашъ. . . souvent. Я объяснилъ нашимъ дамочкамъ, что это на

бѣдныхъ дѣтей, т. е. для сиротъ и еще разныхъ другихъ. Онѣ говорили, что если тамъ пріютъ для дѣтей, то онѣ согласны давать и вотъ. . . тутъ сто пятьдесятъ франковъ. . .

— Молодчина Рафаиль, — сказала генераль. — И мать обобрала, и тетку, разныхъ бриджевыхъ дамъ. И самъ подписалъ, изъ собственныхъ сбереженій. Какъ-же не съ колокольнымъ звономъ. . .

— Одна знакомая, иностранка, госпожа Стаэле, — продолжала Рафа уже совсѣмъ важно: — общала мнѣ вносить за какого-нибудь мальчика ежемѣсячно, если только ей пришлютъ фотографію всего. . . *établissement*, и портретъ ребенка, и его письмо.

— Какой славный мальчикъ! Милый мальчикъ, — сказала Мельхиседекъ, перекрестилъ Рафу и поцѣловалъ его въ лобъ. Потомъ взялъ за обѣ руки, и глядя прямо, продолжалъ тихо и очень серьезно: — ты помоги и намъ, и такимъ-же мальчикамъ, какъ и ты самъ.

— У насъ, милый человекъ, уже десять живетъ ребятъ, да не такихъ, какъ ты. У тебя мама, она тебя любитъ, у тебя квартирка, ты начинаешь учиться. . . Одѣтъ хорошо. А наши дѣти — въ большинствѣ сироты, или попавшіе въ чужія семьи, иногда столько зла, горя, грубости уже видѣвшіе. Мы стараемся ихъ отогрѣть, просвѣтить, научить закону Господа Иисуса. Нашъ общій другъ Михаилъ Михайлычъ говоритъ, что тебя надо съ колокольнымъ звономъ встрѣчать: это шутка, но я дѣйствительно тебя очень благодарю.

Рафа слегка застыдился.

— А можно мнѣ было-бы посмотрѣть тѣхъ мальчиковъ?

— Отчего-же нельзя. Разумѣется, можно. Пріѣзжай съ Михаиломъ Михайлычемъ. Даже — разъ ужъ у тебя такія знакомства: просто *нужно* пріѣхать! Посмотришь, поговоришь съ какимъ нибудь мальчикомъ, чтобы онъ дамѣ этой написалъ. . .

— Такъ что вы считаете, — вдругъ перебилъ генераль: — что я-то ужъ ѣду? Рѣшенное дѣло?

Мельхиседекъ мгновеніе помолчалъ. Потомъ поднялъ на него свои голубые, выцвѣтшіе глаза, сказалъ серьезно, почти съ нѣкоторой даже грустью:

— Думаю, Михаилъ Михайлычъ, что рѣшенное.

Генераль не отвѣтилъ. Рафа задумался — пустить-ли мама?

\* \*  
\*

«Мельхиседекъ у насъ летательный», говорилъ о немъ архіепископъ Игнатій. Архіепископъ, *высокій*, не старый и плотный монахъ въ золотыхъ очкахъ, бывший профессоръ догматическаго богословія, любилъ пошутить.

— О. Мельхиседекъ столь легокъ, что ему и аэроплана никакого не надо. Какъ нѣкое перышко по воздуху воспаряетъ.

И давалъ ему порученія: съѣздить туда-то, наладить то-то, помирить одного съ другимъ. Мельхиседекъ запахивалъ ветхую свою рясу, расправлялъ серебряную бороду, и дѣйствительно, поддуваемый вѣтеркомъ, какъ легкій парусникъ плылъ: нынче въ Гренобль, завтра въ новый скитъ Андрея Первозваннаго, а тамъ въ городишко сѣверной Франціи.

Теперь вызванъ онъ былъ въ Парижъ на нѣсколько дней, замѣнить іеромонаха Луку, навѣщающаго русскихъ въ больницахъ — да кстати провѣрить и всю организацію посвѣщеній.

На этотъ разъ особо настойчиво потребоваль генераль, чтобы онъ у него остановился.

— Я соглашаюсь ѣхать въ скитъ, но и вы должны прожить у меня эти дни.

Мельхиседекъ колебался.

— Да я, собственно, Михаилъ Михайлычъ, на Подворьѣ-бы.

Но генераль взялъ его за руки, крѣпко сжалъ.

— Прошу васъ. Когда вы тутъ. . . — на сердцѣ не такъ тяжело.

Мельхиседекъ смолкъ. Это «на сердцѣ тяжело» слышалъ онъ отъ сотенъ людей, кого за долгую жизнь исповѣдываль: вѣчная усталость, бремя, копотъ души.

И остался. Впрочемъ, онъ мало бываль собственно у генерала. День проводилъ въ разъѣздахъ, да въ госпиталяхъ сѣвера, юга, востока и запада Парижа. Чтобы не привлекать вниманія, надѣваль вмѣсто клобука шляпу. И худенькаго старичка съ бѣлою, провѣянною бородой можно было встрѣтить и въ Charité, и у Кошена, и въ Сальпетриэръ — какъ и въ уголку второго класса метро. Онъ возвращался подъ вечеръ усталый, иногда даже грустный.

— Мнѣ въ Парижѣ вашемъ нелегко, — говорилъ генералу. — Тяжкій городъ. Не по мнѣ. Душно. А вотъ Русь-то наша, одинокая, заброшенная, по больницамъ. . .

Онъ остановился, легкимъ прикосновеніемъ взялъ руку генерала — точно хотѣлъ погладить.



— Жалко всѣхъ, разумѣется. Сколько несчастій видишь...

Но черезъ минуту прибавилъ:

— А въ печаль нельзя впадать. Мнѣ недавно архіепископъ разсказалъ про одного монаха, католическаго. Тринадцать лѣтъ съ прокаженными прожилъ и самъ заразился. Умирая, написалъ въ послѣднемъ письмѣ: «Малѣйшее проявленіе печали мнѣ всегда было тяжело — оно обидно Богу».

Генераль задумался.

— Это мудро выражено, о. Мельхиседекъ, и какъ все мудрое трудно выполнимо. Отъ печали, воспоминаній, сожалѣній очень трудно избавиться.

— У насъ, въ монашествѣ, — тихо сказала Мельхиседекъ: первое правило — никакъ воспоминаніямъ не предаваться.

— Я не монахъ. Я не могу. Во мнѣ все прежнее живетъ-съ, о. Мельхиседекъ, несмотря ни на какіе Парижи... Да и вы сами — я уже говорилъ вамъ — для меня часть этого прежняго.

— Значить, не все еще перемололось въ васъ, Михаилъ Михайловичъ.

... Мельхиседекъ хорошо дѣйствовалъ на генерала. Ему пріятно было, что этотъ сухенькій старичекъ къ вечеру какъ бы вливался въ его квартирку, иногда усталый, иногда нѣтъ, но всегда ровный, чаще всего улыбающійся и привѣтливый. Генераль сшивалъ бисерныя половинки мѣшечковъ для баловъ. Разрисовывалъ яйца — выцарапывалъ, золотилъ и чернилъ узоры двуглаваго орла. На ночь раскладывалъ пасьянсъ. А въ прихожей Мельхиседекъ разбивалъ нехитрый свой шатеръ: всего-то тощій тюфячекъ. И становился

на вечернее правило. Кромѣ всегдашнихъ именъ за ко-го молиться (съ жильцами дома въ Пасси), прибави-лись теперь новыя: сведенный ревматизмомъ штур-манъ Петровъ изъ Charité, капитанъ Кобозевъ изъ Cochin — у этого туберкулезъ шейнаго позвонка — болѣе года лежитъ недвижно, безъ подушки.

О жильцахъ-же дома, за эти нѣсколько дней, тоже узналъ Мельхиседекъ кое-что новое.

\* \*  
\*

— Конечно, — говорила Дора: Михаилъ Михай-лычъ имѣетъ большое на него вліяніе. Сама я, какъ вамъ извѣстно, не православная, но къ религіи отно-шусь терпимо. Вліяніе генерала считаю скорѣй даже хорошимъ — но согласитесь, о Мельхиседекъ, что вѣдь это случайность, пожалуй, даже и странность... Рафа, конечно, попадетъ во французскую школу, гдѣ все это совершенно не къ чему. Вотъ и сейчасъ: ему очень хочется съѣздить съ вами и Михаиломъ Михай-лычемъ въ этотъ скитъ... Отчасти, я ничего и не имѣю: генерала уважаю, о васъ много слышала, и увѣрена, что ничего плохого для Рафы отъ поѣздки въ деревню не будетъ.

Дора произносила слова связно и покойно. Они имѣли опредѣленный смыслъ, но жили отъ нея от-дѣльно.

Мельхиседекъ тихо сидѣлъ на кончикѣ стула.

— Можетъ быть, его даже поразятъ поэтическія стороны вашихъ службъ, но для чего ему, скажите

пожалуйста, все это въ лицѣ Жансонъ, куда осенью онъ поступаетъ?

«И у этой женщины тайныя скорби», подумалъ Мельхиседекъ. «На умѣ одно, въ сердцѣ другое — тяжесть».

Когда она смолкла, онъ поднялъ на нее глаза.

— Уважаемая Дора Львовна, я вѣдь никакъ не настаиваю. Первое — хотѣлъ просто васъ поблагодарить за поддержку дѣтей нашихъ, а второе, — я думаю, на такую побѣздку можно бы смотрѣть просто какъ на прогулку въ деревню.

— Ахъ, ну да, разумѣется. . .

— Позвольте спросить, — сказала вдругъ Мельхиседекъ: — у васъ есть, вѣдь, кажется, мужъ въ Россіи?

— Да. А. . . что?

— Нѣтъ, ничего. Такъ это мнѣ въ голову зашло. Все, знаете, теперь такое неустроенное. . . Рафаиль стало быть, отца почти и не помнитъ?

— Мы съ мужемъ давно не вмѣстѣ.

Дора встала, подошла къ окну. Солнце заливало каштаны. Розовыя свѣчи еще держались, бѣлыя уже облетѣли. Филемонъ и Бавкида, подъ зелеными волнами тѣни, возились со своими курами, крыжовниками. «Все сложилось, конечно, неправильно и горько. Но я никого не должна винить. Если-бы я была достоевская дѣвушка, то устраивала-бы сцены и истерики. Но я не истеричка. И отлично понимаю, что когда тебя не любятъ, то никакой силой не заставишь полюбить. Истерики безсмысленны. Да и развѣ онъ виноватъ? Слабый, несчастный человѣкъ. Но любить

никого, вѣроятно, не можетъ. Онъ вѣчно подпадаетъ своей чувственности и беззащитенъ отъ нея».

Кто-то невидимый взялъ нѣсколько быстрыхъ воздушныхъ нотъ. Въ паузѣ этой слышалъ-ли ихъ Мельхиседекъ? Дорино сердце онѣ пронзили. Она обернулась, встрѣтила спокойный, задумчивый, странно задумчивый взоръ Мельхиседека.

— Въ концѣ-же концовъ, — сказала тихо, — если Рафа хочетъ, то пусть ѣдетъ, разумѣется. Поручаю его вамъ и генералу.

Мельхиседекъ поклонился.

— Благодарю васъ за довѣріе, Дора Львовна. Думаю, что раскаиваться не будете.

Воздушныя ноты замолкли. Все опять стало по прежнему, обычное и будничное. Дора Львовна Лузина со своимъ неудачнымъ романомъ, со своими заботами, чувствами и занятіями входитъ во всегдашнюю свою жизнь, и въ концѣ концовъ неважно, поѣдетъ или не поѣдетъ Рафа съ этими двумя стариками въ ненужный ей скитъ. Вообще ничего не важно.

Когда Мельхиседекъ ушелъ, она стала собираться — надо пойти позвонить къ мадамъ Габриловичъ на счетъ завтрашняго массажа. «Забыть, забыть, забыть...» Габриловичъ, Гарфинкель, Эйзенштейнъ.

Мельхиседекъ возвратился въ квартирку Михаила Михайлыча. Генерала не было. Мельхиседекъ не ходилъ нынче по больницамъ, онъ присѣлъ у генеральскаго столика и сталъ писать письма: въ скитъ о. Никифору, знакомому въ Югославію, священнику въ Лилль. Майскій Парижъ былъ за окномъ. Онъ посылалъ пестрые, нервные свои звуки — смѣсь напѣвовъ по радіо, гула автомобилей, протяжнаго, отдаленна-

го визга трамваевъ — все жило въ солнечномъ свѣтѣ и сливалось съ зелеными вѣянiями, бѣлыми гаммами каштановыхъ листьевъ подъ вѣтеркомъ. Вѣроятно, эта колкая, острая (хоть и приглашенная) музыка и вызывала нѣкое безпокойство у Мельхиседека.

Впрочемъ, на половинѣ послѣдняго письма онъ ощутилъ и новые звуки, совсѣмъ уже странные: доносились они какъ будто изъ окна и снизу.

«Все вышеизъясненное заставляетъ меня обратиться къ Вашему боголюбію...» писалъ Мельхиседекъ круглымъ почеркомъ съ большими, однако, завитками на «боголюбіи». Онъ только было размахнулся изложить, чего ждетъ отъ боголюбія, какъ звуки, неопредѣленно ему ненравившіеся, стали опредѣленнымъ крикомъ — женскаго пронзительнаго голоса. Мельхиседекъ всталъ, подошелъ къ окну и наклонился. «Да нѣтъ, Капочка, я ничего...» «Всегда вралъ, всю жизнь...» — голосъ Капы взлеталъ до высокихъ нотъ. Мельхиседекъ поморщился, отошелъ. Опять другой голосъ возражалъ, приглушенно и невнятно: будто волна спадала. Но Мельхиседекъ все пожимался, неуютно себя чувствовалъ — волна-же вдругъ снова закипѣла, забурлила, возросла...

Что-то хлопнуло, зазвенѣло. Мельхиседекъ вышелъ на площадку. Внизу, изъ квартиры Капы запахнулась дверь, быстро выскочилъ, пятясь, Анатолій Ивановичъ.

— Иди къ своей дряни, иди, негодяй... черезъ лѣстницу, близко... иди!

Она отскочила назадъ, опять что-то схватила — бѣлая чашка ударила прямо въ лобъ Анатолія Ивановича — разсыпалась мелкими кусочками.

— Благодарительница чело́вчества! Дрянь! Развратная дрянь! Агу́нья! Такая-же. . .

Капа захлопнула дверь. Дрогнула ветхая стѣна, зазвенѣло внизу. Гдѣ-то открылась дверь, кто-то въ недоумѣннн на шумъ высунулся. Но какъ разъ стало моги́льно-тихо. На площадкѣ стоялъ худощавый чело́вѣкъ въ сѣрыхъ брюкахъ со складкою, вытиралъ безупречнымъ платочкомъ кровь съ оцарапаннаго лба. Потомъ медленно, дѣловито сталъ собирать осколки. Поднявъ голову, увидалъ бѣлую бороду Мельхиседека — улыбнулся: нельзя сказать, чтобы улыбкою веселой!

Мельхиседекъ видѣлъ его на-дняхъ у генерала. Теперь спустился къ нему. Анато́лій Ива́нычъ молчалъ и виновато улыбался. Губы его дрожали, въ платочкѣ онъ держалъ собранные осколки. И глубокая безпомощность была во всей позѣ — такъ бы и стоять, неизвѣстно сколько, зачѣмъ.

— Пойдемте къ Михаилу Михайловичу, сказалъ тихо Мельхиседекъ. — Тамъ хоть полежите. Да и кровь опять выступила. Надо обмыть.

Анато́лій Ива́нычъ покорно за нимъ поднялся. Положилъ черепки въ кухнѣ, обмылъ лобъ подъ крапомъ, умылъ лицо.

— Какъ все непріятно вышло. . . ужасно непріятно. Капа — больная дѣвушка. Такая нервная. . . какъ разсердится, не удержишь. . . И начинаетъ метать предметы. Совершенно напрасно. . . — вообразить себѣ Богъ знаетъ что. . .

Анато́лій Ива́нычъ глядѣлъ на Мельхиседека свѣтлыми, вопрошающими глазами.

Будто малый ребенок невинно пострадал от обидчика.

«Ему трудно уже теперь не лгать. Даже очень трудно», думал Мельхиседек покойно. «Так все и выходит, одно к одному».

— Мне очень стыдно передь вами, о. Мельхиседекъ. — Ужасно неловко.

— Предо мной ничего-сь. Предо мной чего-же стыдиться.

Генераль вернулся въ сумерки — относилъ мѣшечки свои комиссіонеру (тотъ устраивалъ ихъ въ магазинахъ).

Мельхиседекъ давно кончилъ письма. Въ садикѣ Жанена сильно сгустилась тѣнь подъ каштанами. Кролики засыпали. Куры замолкли. На улицѣ уже блѣдные фонари, и зеленая искра трамвая ломается, крошится въ воздухѣ фиолетовомъ. Нѣжно-зеркалень асфальтъ мостовой. Рубинъ надъ входомъ въ метро струйкою стоячей отразился въ асфальтѣ. Въ такомъ вечерѣ хорошо бродить близъ Сены, межъ Конкордъ, дворцомъ Бурбонскимъ. Но генераль былъ на rue Didot, въ прогоркломъ Парижѣ старыхъ бѣдныхъ улицъ, тупичковъ еле освѣщаемыхъ, булыжныхъ мостовыхъ. А Мельхиседекъ и никуда не выходилъ, но смотрѣлъ въ пролетъ между стѣною и каштанами: тамъ сіяли, странно сблизившись, двѣ крупныя звѣзды.

— Какъ прожили день, о. Мельхиседекъ, — спросилъ генераль. — Какъ чувствовали себя подъ моимъ кровомъ?

— Слава Богу, Михаилъ Михайловичъ. — Хотя день былъ довольно странный.

Генераль зажегъ газъ, сталь разогрѣвать супъ.

Мельхиседекъ сначала разсказаль про Дору Львовду. (Передавъ внѣшнее. О внутреннемъ умолчалъ — давно привыкъ умалчивать о внутреннемъ, слишкомъ много исповѣдывалъ, слишкомъ зналъ много).

— Такъ что мы теперь втроемъ ѣдемъ, Михаилъ Михайлычъ. — И Рафаиль.

— Великолѣпно.

— Ну, а затѣмъ попалъ въ баталію...

Разсказаль вкратцѣ и объ этомъ. (Спокойно, и безъ удивленія — точно такъ и должно было быть).

— Да-а, фертъ этотъ, фертъ... сказаль генераль. — Доигрался. Дѣйствія на два фронта — одновременно. Контръ-атака противника во флангъ и прорывъ къ обозамъ. Но насчетъ Доры Львовны не полагаль-сь... Вотъ по видимости и аккуратная, солидная — да и возрастъ не изъ дѣтскихъ... — а тоже значить, слаба. Сердце-то женское слабое, любви ищетъ, о. Мельхиседекъ. И никакими вашими постами не залить любви-сь...

Мельхиседекъ погладилъ свою бороду.

— Мы и не собираемся заливать, Михаилъ Михайлычъ. Не думайте, что мы уже такія дѣти, жизни не знающія. Но когда къ намъ приходятъ люди истерзанные этой жизнью и этой любовью, мы стараемся утѣшить...

— Такъ, такъ... Вотъ вамъ и домъ пассійскій, помните, вы тогда «скитомъ» его назвали? Хорошъ скитокъ! Нечего сказать.

— Скитъ, конечно, не скитъ, это просто жизнь, Михаилъ Михайлычъ. Удивляться нечего, не въ раю



живемъ. Впрочемъ, и сама скитская жизнь не безъ трудностей, хоть и другихъ, конечно.

Мельхиседекъ помолчалъ, потомъ вдругъ улыбнулся.

— Еще одно посѣщеніе было, попозже. Стучать въ дверь, отворяю. Молодой человекъ, блондинъ, вида довольно аккуратнаго, и пожалуй пріятнаго... не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ, Впрочемъ, но это не важно. Спрашиваетъ васъ. Говорю, дома нѣтъ. Онъ тогда извиняется, и отвѣчаетъ, что собственно, ему какъ разъ меня и надо, но что хотѣлъ вашего содѣйствія. Тоже жилецъ дома.

— Чувствую. Шофферъ сверху.

— Вѣрно. Именемъ Левъ. И объясняетъ этотъ самый Левъ — тароватый, видимо, парень... — прослышалъ, что я тутъ у васъ бываю и даже сейчасъ живу, то не помогу-ли въ одномъ дѣльцѣ... Охотно. А каково дѣльце? Хочетъ жениться. Тоже на одной русской, портнихѣ изъ этого дома, изъ улья русскаго. Что-же, моль, по вашему возрасту дѣло и совсѣмъ подходящее. Чего-же содѣйствовать? Пошли въ церковь, перевѣнчались. Онъ немножечко жметса. Вижу, не все такъ просто. «Я, говорить, о васъ много слышалъ, хотѣлъ-бы, чтобы вы именно перевѣнчали...» Что-же, я не противъ, только монахамъ вѣнчать не полагается. Это у насъ не принято, въ православіи. Къ бѣлому духовенству относится. Вижу, онъ покоенъ. Разспрашиваю, такъ да этакъ — оказывается, у невѣсты не все въ порядкѣ. Она вдова, но гдѣ-то въ бѣженствѣ, въ Болгаріи, что-ли, еще разъ ухитрилась выйти замужъ, пожила съ мужемъ и разошлась. Сейчасъ онъ неизвѣстно гдѣ, слуха о себѣ не даетъ,

но развода нѣтъ. Тутъ-то я и понадобился, нельзя-ли, моль, какъ-нибудь обходнымъ манеромъ. . .

— Ловчить Левъ, словчить хочетъ, ясное дѣло. Онъ у насъ дошлый.

Мельхиседекъ продолжалъ улыбаться.

— И какъ это ихъ тянетъ, женскій полъ. . . Вѣдь дважды была замужемъ, нѣтъ, подавай третьяго. Уд-и-ви-тель-но! Да, такъ что въ этомъ дѣлѣ я ему никакого содѣйствія оказать не могъ.

— Не огорчайтесь, о. Мельхиседекъ. И безъ васъ какъ-нибудь устроится.

— Я и самъ такъ полагаю, — сказала Мельхиседекъ и принялся устраиваться на ночь: разостлалъ тюфячекъ, положилъ подушку.

Парижскій день кончился. Для Мельхиседека былъ это день обычный. Если онъ видѣлъ кого-то, съ кѣмъ-то говорилъ, кому-то могъ помочь, кому-то нѣтъ, кто-то ему понравился, кто-то не понравился, это не могло вывести его изъ многолѣтней, прочно сложившейся устойчивости. Лично себя онъ почти никакъ не ощущалъ. Иногда былъ болѣе бодръ, иногда менѣе, нѣсколько веселѣй, нѣсколько грустнѣй, но въ общемъ его жизнь шла по рельсамъ. Всѣмъ онъ сочувствовалъ, ни къ кому не былъ привязанъ. «Я съ младенчества моего монахъ», говорилъ о себѣ. И ничѣмъ нельзя было ни взволновать, ни поразить этого худенькаго, легкаго старичка.

Сегодня въ вечернее свое правило онъ включилъ и Анатоля Иваныча. Ложась, спросилъ вдругъ изъ темноты:

— А въ присвоеніи чужой собственности господинъ сѣй никогда не былъ замѣченъ?

Генераль удивился.

— Почему вы такъ думаете?

— Я ничего-съ, просто освѣдомляюсь. Мало-ли что случается. . .

Генераль фукнулъ.

— Нѣтъ, съ этой стороны о фертѣ ничего не знаю. А вы. . . да, вотъ вы какой, о. Мельхиседекъ. Вы вѣдь, пожалуй, и обо мнѣ такъ «освѣдомляетесь?»

Мельхиседекъ тихо отвѣтилъ:

— О васъ не освѣдомляюсь.

Они замолкли. Потомъ генераль спросилъ, не мнѣ неожиданно:

— А вы обратили вниманіе, что Юпитерь подошелъ чрезвычайно близко къ Марсу? Отъ васъ видно? Въ кухнѣ?

— Сейчасъ не видно, но я замѣтилъ. Это, какъ въ газетахъ пишутъ, чрезвычайно рѣдкій случай.

— Рѣдкій. . . — генераль вздохнулъ и сѣлъ на кровати. Ему стало грустно. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, какъ бы встряхнулся, мѣняя тонъ.

— Значить, въ пятницу ѣдемъ?

Мельхиседекъ подтвердилъ.

## СКИТЬ

... По преданію, огромная рыба выплеснулась изъ рѣки на берегъ, когда святой молился, ища мѣсто для монастыря. Онъ пожалѣлъ ее, бросилъ обратно въ воду — и принявъ это за указаніе, основалъ невдалекѣ обитель. Много столѣтій прошло съ той молитвы. Было аббатство и малымъ, и великимъ. Норманы сожгли его. Во времена крестовыхъ походовъ оно отстроилось — замѣчательный соборъ изъ камня пористаго, бѣлаго, и посейчасъ стоитъ — узкій, длинный, поросшій кой-гдѣ плѣсенью, выростившій березку въ одномъ изъ карнизовъ, опирающійся на древнѣйшую, еще романскую абсиду. И какъ-бы продолженіемъ его воздвиглась Sainte Chapelle — великаго изящества и чистоты стиля ранне-готическаго. За остатками стѣны рѣка въ осѣкахъ. Пестроцвѣтныя птицы низко, чуть воды не касаясь, чертятъ надъ самымъ зеркаломъ, на закатѣ, прямыя горизонтали отъ одного лозняка къ другому. Рыба поплескиваетъ, но ужъ нѣтъ той таинственной, что во времена святого выражала волю Бога. Маленькихъ плотичекъ, пискарей да

кой-гдѣ краснопераго окуня выудить рыболовъ съ плоскодонки.

Аббатство въ запускѣни. Въ соборѣ служитъ, правда, старый кюрэ въ шапочкѣ, похожей на корону, сухой, довольно крѣпкій, непривѣтливый. Но корпусъ съ келіями долго пустовалъ. Былъ тамъ пансіонъ для католическихъ дѣвицъ, во время войны госпиталь, потомъ опять пустыня, пока нынѣшней зимой не появились здѣсь вполнѣ странные люди въ черныхъ клобукахъ.

Сова вылетѣла изъ угла залы капитула, когда архимандритъ Никифоръ и валаамскій монахъ Авраамій впервые осматривали помѣщеніе. Никифоръ, худой, высокій, съ чахоточною грудью и вставными серебряными зубами, вздыхалъ, глядя на паутину, на потолки провисающіе, незапирающіяся двери. Но веселый Авраамій рѣшилъ дѣло.

— Ничего, о. Никифоръ, обойдется. Церкву я беру съ вамъ самолично передѣлать, кроватокъ намъ понавезутъ... А главное-то дѣло, мѣсто больно хорошее. До чрезвычайности душевное мѣстечко.

Авраамій былъ очень здоровый, мужиковатый монахъ, шутникъ, бывшій столяръ, не весьма твердо знавшій, чѣмъ несторіане отличались отъ моноэлитовъ, но прекрасно понимавшій, что такое жизнь, и Бога чувствовавшій такъ, будто Онъ съ нимъ всегда рядышкомъ. Мѣсто и дѣйствительно ему понравилось — лѣсами, уединенностью, тишиной. До Валаама, конечно, далеко. Чтó, вообще, можетъ равняться съ Россіей! Все-таки, рѣка... Тоже не то, что наша, но тутъ одно Авраамія прельщало: рыбная ловля. Рѣка медленная, полноводная. Стрижи, бабочки, зеленая

особа, рыбка поплескиваетъ. Онъ объ этомъ не сказалъ Никифору, но настаивалъ горячо, чтобы тутъ основаться.

Игуменъ помолился, поколебался, и рѣшилъ снять. Когда черезъ недѣлю казначей Флавіанъ увидалъ помещеніе, то пришелъ въ ужасъ. Плотный, нѣсколько сумрачный, съ умными, но не столь добрыми небольшими глазками іеромонахъ Флавіанъ недавно прибылъ изъ Польши (не ужившись въ знаменитомъ монастырѣ). Онъ считалъ, что игуменомъ слѣдовало быть ему, а не тощему и чахоточному Никифору, вся заслуга котораго въ томъ, что у него серебряные зубы и стажъ нѣсколькихъ лѣтъ на Аѳонѣ. Теперешній шагъ Никифора только подтверждалъ, по мнѣнію Флавіана, его неспособность къ управленію. И хотя это было не совсѣмъ законно, Флавіанъ написалъ длинное письмо архіепископу, прося рѣшеніе Никифора отмѣнить. (Сырая мѣстность, постройки ветхи, и т. п.).

Архіепископъ-же, пріѣхавъ, посмотрѣвъ сквозь золотые очки на соборъ, рѣку, на будущія спальни мальчиковъ и келіи монаховъ, на огромную залу, уже прозванную за пустынность Сахарой, покручивая пряди темной, съ просѣдью, бороды и какъ бы соглашаясь съ Флавіаномъ, благословилъ контрактъ подписать.

Авраамій былъ въ восторгѣ. Строгалъ, пилилъ; засучивъ рясу, мылъ полы, вставлялъ новые шпингалеты и поглядывая на рѣку предвкушалъ лѣто съ удочкою въ промежуткахъ между службъ.

\* \*

\*

Такъ осѣла здѣсь эта Русь, въ латинскомъ мѣстѣ раскинувъ свое становище. Зимой было холодно. Печурки дымили. Стѣны покрывались плѣсенью. Сырой, затхлый воздухъ. Къ маю стало легче. Понемножку устраивалась церковь. Изъ Ниццы прислали икону. Изъ Парижа расшитые херувимами вѣздухи — рукодѣліе офицерскихъ, шофферскихъ женъ. Главное же: солнышко появилось. Распустились столѣтніе явзы, липы, каштаны. Плющъ завилъ статую Юсифа Обручника предъ двухэтажнымъ зданіемъ аббатства. Запестрѣли въ клумбахъ цвѣты Авраамія. И лягушки загукали по болотцамъ — перекликались ночью съ совами. Авраамій поймалъ перваго пискаря. Появились первыя дѣти.

Мельхиседекъ, Рафа, генераль, всѣ по разному чувствовали себя, подѣвзжая къ аббатству. Для Мельхиседека это было обычное — еще день, нынче въ Сербіи, завтра во Франціи, послѣзавтра въ Берлинѣ или Греціи, куда понесетъ его ладью вѣтеръ, все въ томъ же ровномъ, сребристомъ днѣ. Для Рафы — странное и занимательное путешествіе, чуть не въ глубины Африки (при всей своей самоувѣренности онъ все-же придерживался генерала: вблизи этого сухого, прокуренаго плеча будетъ покрѣпче).

Генераль все глядѣлъ въ окно, отвертывался. Передъ самымъ монастыремъ шоссе пересѣкало ложокъ съ луговинкой, болотцемъ. Съ кочки поднялся, медленно, качаясь, закивалъ въ воздухъ русскій чибисъ. Рафа замѣтилъ, что ближайшій къ нему глазъ генерала мокрый.

— Вы навѣрное засорили? Я имѣю чистый платокъ. Если хотите, кончикомъ вамъ выну.

— Имѣю, имѣю. . . Нечего вынимать. Все въ порядкѣ. Сейчасъ прїѣдемъ.

Автобусъ ссадилъ ихъ на деревенской площади. Середина ея — зеленая лужайка, огороженная перилами. Въ глубинѣ обелискъ съ водоемомъ и струйкою воды. Тихіе дома вокругъ, и за другой лужайкой, по другую сторону дороги громада собора, какъ бы грозная, прекрасная вѣчность. Со своими чемоданчиками, подъ готической аркой входа прошли они дворикомъ къ Іосифу Обручнику и Пресвятой Дѣвѣ.

— Вотъ, привезъ гостей изъ Парижа, — сказала Мельхиседекъ появившемуся на крыльцѣ Флавіану.

Генераль снялъ шляпу, подошелъ подъ благословеніе. Рафѣ стало нѣсколько жутко — въ Парижѣ онъ проще здоровался съ Мельхиседекомъ. Тутъ что-то совсѣмъ другое. . .

И онъ сложилъ ладони, поцѣловалъ волосатую, не весьма ему понравившуюся руку.

— Генераль Вишневикий? — Слышалъ, слышалъ, говорилъ Флавіанъ. — А это что-жъ мальчикъ — къ намъ въ общежитіе?

Флавіанъ смотрѣлъ тускло, небольшими глазками — средне-привѣтливо. Онъ уже оцѣнилъ, что богомольцы не изъ важныхъ.

Мельхиседекъ объяснилъ: генераль и Рафа друзья обитатели, кое-что собираютъ, будутъ и впредь помогать. А прїѣхали посмотрѣть, и немножко вздохнуть.

— Такъ, та-акъ. . . — милости просимъ. Флавіанъ посмотрѣлъ на Рафу, слегка усмѣхнулся. — И ты собираешь? Такой маленькій?

Рафѣ послышалась еѣ тонъ его насмѣшка.

— Я собралъ для мальчиковъ полтора ста фран-



ковъ, отвѣтилъ онъ тихо, твердо. — Можетъ быть, и еще соберу.

Флавіанъ опять усмѣхнулся, опять несовсѣмъ ясною усмѣшкой.

— Мы, разумѣется, всегда благодаримъ благодѣтелей. Пожалуйте, однако, я укажу вамъ комнату.

И поднявшись въ первый этажъ, пересѣкши огромную пустую залу-Сахару, проведъ ихъ въ небольшую комнату съ окномъ въ садъ. Пахло сыростью, кислотатымъ. Было прохладно.

— Не взыщите, — сказала Флавіанъ генералу: обитель весьма бѣдная, гостиника нѣтъ, я за всѣхъ. Вотъ, кровать, диванчикъ для молодого человѣка, тутъ и утѣшайтесь, ежели вы любитель монастырскаго житія. Насчетъ декоративнаго, предваряю: довольно скудное. Но возможно, разумѣется, и прикупать.

Когда онъ вышелъ, Мельхиседекъ отворилъ окно. Майскій воздухъ поплылъ, теплый, золотой. Внизу огородъ, дальше вѣковые каштаны, дубы, мощная зеленая туя. И голубоватые лѣса на горизонтѣ. Снизу изъ церкви пѣніе — шла всеобщая.

— Мнѣ довелось быть на св. Аѳонѣ, — сказала Мельхиседекъ. — Тамъ у нихъ, знаете-ли, кромѣ главныхъ храмовъ устроены еще малые, въ корпусахъ съ келіями, называются параклисы. И вотъ такъ-же пѣніе, какъ бы пронизываетъ всю обитель.

Генераль погладилъ свои усы.

— Какая прелесть! Солнце садится. Тишина, благодать. . . прямо тутъ расцвѣтешь!

Мельхиседекъ пристально на него поглядѣлъ.

— Михаилъ Михайлычъ, вамъ-бы поговѣть здѣсь. Исповѣдуйтесь, причаститесь и пречудесно будетъ. . .

— Я и прежде, къ вамъ въ Пустынь наѣзжая, всегда говѣлъ. И Ольга Александровна, покойница. . . Боже ты мой! Опять русскій монастырь, опять вы. о. Мельхиседекъ. . .

Генераль былъ въ нѣкоемъ возбужденіи. Рафа раснаковывалъ чемоданчикъ. Въ возбужденіи онъ не находился. Ему не такъ особенно нравилось тутъ — Флавіанъ и совсѣмъ не понравился. Но онъ молчалъ. Вынималъ зубную щетку, полотенце, мыло. Предложилъ помочь и генералу — тотъ отклонилъ.

Такъ какъ трапеза отошла, ихъ покормили отдѣльно, но за тѣмъ-же длиннымъ столомъ въ сыроватой трапезной. Пахло щами, мухи гудѣли въ вышинѣ. Съ каменныхъ, недавно перекрашенныхъ стѣнъ смотрѣлъ св. Серафимъ съ медвѣдемъ, Аѳонская гора, архіепископъ съ длинной бородой. Рафѣ стало немножко грустно. Мама сейчасъ въ Парижѣ ужинаетъ, о немъ думаетъ. И вообще. . . все проще въ Пасси! Можно выбѣжать на улицу, прокатиться по тротуару на роликѣ, пойти въ синема. . . Мало-ли какъ провести время. А здѣсь старыя стѣны, сырость, летучія мыши. Генераль сказалъ, что выйти изъ обители уже нельзя, калитку запираютъ, какъ солнце сядетъ.

Мельхиседекъ немного съ ними посидѣлъ, а потомъ отлучился — Рафѣ показалось, что растаялъ въ этихъ мрачныхъ стѣнахъ — и слѣда не осталось отъ легкой, бѣлѣющей бороды. Но Мельхиседекъ не таялъ, просто отправился къ игумену. А Рафа страшно усталъ и въ глазахъ у него двоилось: въ десятомъ часу насилу добрелъ до диванчика.

Генераль долго не могъ уснуть. Сначала еще ходили гдѣ-то внизу, посуда постукивала на кухнѣ, голоса доносились. А потомъ все замолкло. Генералу казалось — не то, что нѣтъ звуковъ, а даже есть нѣкое дѣйственное беззвучіе. Звуки и возникнуть не могутъ въ бездонной этой ночи. «Такъ будетъ послѣ смерти. И Ольга Александровна въ такой-же тишинѣ сейчасъ».

Всталъ, подошелъ къ окну. На дорогѣ вспыхнула свѣтъ — сразу погасли отъ него звѣзды, но чернѣй выступили лапы каштановъ. Автомобильный снопъ все ближе, выхватываетъ изъ ночи зеленыя купы кустарниковъ, тополей, дрожа, струясь по изгородямъ... — въ жужжаньѣ мотора все это пронеслось, сгнуло, какъ падающая звѣзда.

На звѣздномъ небѣ близокъ отъ Юпитера красноватый Марсъ. Рѣдкіе сосѣди!

\* \*  
\*

Дора Львовна ошиблась, думая, что Рафу поразятъ «поэтическія стороны службъ». Этого не случилось. Въ церкви его заинтересовала лиловая мантия Никифора и то, что тотъ наизусть читалъ Шестопсалміе («длинное, безъ книжки», рассказывалъ онъ потомъ матери). Но въ общемъ онъ нашелъ, что все это «немножко очень длинно». И добавилъ: «немножко глупо, что я ничего не понимаю».

Монастырскія службы дѣйствительно длинны. Генераль и самъ не все выстаивалъ. Рафу-же никакъ не

принуждалъ, и тотъ себя не мучилъ: заходилъ въ церковь, когда вздумается, долго не оставался. Внѣ-же церкви проводилъ время даже интересно. Тактика его была такая: не попадаться на глаза Флавіану (его онъ сразу невзлюбилъ). Не пропускать Авраамія, когда тотъ идетъ удить рыбу — за нимъ онъ несъ червей, ведро для рыбъ. Но самое интересное было новое знакомство.

Вообще говоря, съ мальчиками нелегко было сблизиться. То они сидѣли въ школѣ, то чинно шли, черезъ Сахару въ церковь, пѣли на клиросѣ, возвращались рядами, подъ наблюдениемъ Авраамія или монаховъ помоложе. Учили уроки. Оставались краткіе часы свободы.

Но Дмитрій Котлеткинъ, мальчикъ лѣтъ четырнадцати, съ рыжеватой щетинкой на головѣ, находился на особомъ положеніи — выздоравливающаго послѣ брюшного тифа.

Большую часть дня онъ лежалъ въ раздвинутомъ креслѣ на солнцѣ, у статуи св. Дѣвы. Иногда бродилъ немного въ своемъ халатикѣ. Умные небольшіе глаза, старше возраста, смотрѣли спокойно и самоувѣренно. Некрасивъ былъ Котлеткинъ, грубоватой русской некрасотой — съ широкимъ носомъ, нѣсколько вздернутымъ, въ веснушкахъ, съ красными руками — но Рафѣ все казалось въ немъ необычнымъ.

Героическое окружало Котлеткина: онъ бѣжалъ съ отцомъ изъ Россіи, черезъ Днѣстръ! И если отецъ служить сейчасъ въ Парижѣ, то полгода назадъ пули шлепали вокругъ нихъ ночью въ Днѣстровской водѣ. Это, конечно, такое дѣло, о какомъ въ Пасси и болду-

мать жутко — никто не думаетъ, да и слово «Днѣстръ» неизвѣстно.

— Мы съ папкой цѣлый день въ камышахъ пролежали, хайломъ въ землю. Нельзя двинуться. Пулеметь такъ и чешеть.

Рафа холодѣлъ. Сколько тутъ было правды, не ему судить, но выходило грандіозно. Съ Рафой Котлеткинъ былъ снисходителенъ, но немного свысока, какъ вообще съ Европой. И стрѣляли то по нимъ русскіе пограничники какъ-то особенно: на то она Россія! Можно было подумать, что Котлеткину даже нравилось, что такъ лихо стрѣляютъ русскіе. А Европа. . . первые дни въ Берлинѣ всѣ магазины казались ему «распредѣлителями». Товару много, хорошо бы «прикрѣпиться». И не безъ труда онъ повѣрилъ, что покупать тутъ можно и безъ карточки. Много, впрочемъ, въ распредѣлителяхъ Берлина имъ забрать не пришлось. Передвинулись въ Парижъ. Отецъ попалъ на заводъ, сынъ въ общежитіе.

Про монастырь Котлеткинъ говорилъ покровительственно.

— Ничего, хорошо. Старички не обижаютъ. Вродѣ дѣтотдѣла. . . Конечно, у насъ служители культа лишены. Элементъ контрреволюціонный. Имъ не только ребятъ не довѣряютъ, имъ и пайка нѣтъ. У насъ тамъ физкультура, а тутъ церкви да служба.

Рафа слушалъ съ восторгомъ. Генераль поправлялъ его бѣженскій языкъ, здѣсь-же былъ переводъ съ русскаго на нѣкій новый, несовсѣмъ понятный, но такой-же замѣчательный, какъ самъ Котлеткинъ.

— А почему-же вы съ рара бѣжали?

Котлеткинъ посмотрѣлъ на него, слегка прищурился и сплюнулъ.

— Жрѣнца было мало.

Рафа понялъ, — чего-то нужнаго не хватало. Но что именно, спросить не рѣшился.

— Да меня и отсюда скоро монахи погонять.

— Почему?

— Папку сократили, онъ теперь шوماжникъ.

Рафа почувствовалъ себя прочнѣе.

— *Chômeur?*

— По здѣшнему такъ. Изъ какихъ-же ему капиталовъ за меня платить? А безъ деньжонокъ навѣрно на улицѣ окажешься. Да мнѣ только бы выздоровѣть.

Разговоръ произвелъ на Рафу впечатлѣніе. Героя Котлеткина, спасшагося на *Dniestr*ѣ отъ пуль, исключать изъ-за *chômeur*'а! Онъ разсказалъ объ этомъ генералу.

— Чего тамъ исключать... Какъ нибудь устроится.

Генераль мало заинтересовался Котлеткинымъ.

Рафа почувствовалъ это, ничего не сказалъ, но нѣчто затанлъ. И рѣшилъ дѣйствовать самъ.

Онъ подстерегъ въ саду Мельхиседека и подошелъ къ нему.

— Парижанинъ, гость и другъ... — сказалъ Мельхиседекъ. — Ну, какъ себя чувствуешь?

Мельхиседекъ сидѣлъ за деревяннымъ столомъ, подъ каштаномъ. На столѣ передъ нимъ ученическія

тетрадки. Надъ столомъ, въ вышинѣ, лапчатые листьѣ — густая тѣнь. Какъ изъ купола потокъ зеленой тѣни, прорываемой солнечно-золотыми столбами. Золотые кружочки кой-гдѣ на тетрадкахъ, на сѣдой головѣ...

Рафа поблагодарилъ и перешелъ къ дѣлу. Правда ли, что Котлеткина исключать изъ общежитія?

Мельхиседекъ снялъ очки, сталъ протирать ихъ. Солнечный лучъ отблеснулъ отъ стекла, скользнулъ по рукаву рафиной курточки.

— Откуда ты это знаешь?

— Мнѣ сказалъ Дима. Если его отецъ шѣтеур, то какъ-же онъ будетъ за него платить?

Мельхиседекъ помолчалъ.

— Мнѣ неизвѣстно то, о чемъ ты рассказалъ. Какъ же тебѣ отвѣтить? Монастырь очень бѣденъ, ты знаешь. Мы не можемъ держать дѣтей совсѣмъ даромъ... Но Котлеткинъ мальчикъ способный, къ тому-же и прибывшій изъ Россіи. Поддержать его надо. Во всякомъ случаѣ, постараемся что-нибудь сдѣлать. Дѣло не спѣшное. Онъ вѣдь и выздоравливающій.

Въ концѣ дорожки, отъ аббатства, показались два монаха.

— Да вотъ и самъ о. игумень. Онъ тебѣ все объяснить лучше меня.

Никифора Рафа уже немного зналъ, и не боялся. Рядомъ съ нимъ шелъ Флавіанъ. Когда они приблизились, Мельхиседекъ поднялся, низко, почти до земли поклонился. Рафа не зналъ, какъ поступить: кланяться въ ноги этому тощему, очень длинному и еще

нестарому монаху показалось страннымъ. Подходить подъ благословеніе онъ побоялся — издали неуклюже поклонился.

— Садитесь, о. Мельхиседекъ, — тихо сказала Никифоръ. — Мы васъ не будемъ отрывать отъ дѣла.

Онъ положилъ худую, какъ бы чахоточную руку на ученическія тетрадки.

— Все ихъ науку контролируете?

Рафу поразили его серебрянные зубы. Что то надломленное, кроткое и обреченное было въ этомъ челоуѣкѣ. Рядомъ съ нимъ Мельхиседекъ казался и моложе, и бодрѣе.

— Пишутъ несамостоятельные телятки кто какъ можетъ. Довольно, впрочемъ, грамотно, ваше преподабіе... Сожалѣю, что нѣтъ работы этого мальчика изъ Россіи, Котлеткина.

Игуменъ продолжать постукивать пальцами по тетрадкамъ. Улыбка освѣтила усталое его лицо.

— Тотъ ужъ самостоятельный.

Мельхиседекъ разгладилъ серебрянную бороду, распустилъ морщины, и изъ-подъ очковъ не безъ лукавства посмотрѣлъ на Рафу. Флавіанъ сидѣлъ молча, съ недовольнымъ видомъ.

— Сей Котлеткинъ, продолжалъ Мельхиседекъ, по словамъ гостя нашего, Рафаила Лузина, обезпокоенъ возможностью исключенія изъ общежитія, такъ какъ отецъ его сталъ безработный и не можетъ платить.

Флавіанъ пожалъ плечами.

— Мы и такъ едва живы.

Никифоръ задумчиво смотрѣлъ на Рафу.



— Безработный, не можетъ платить, — повторилъ какъ бы про себя.

Потомъ неожиданно обратился къ Рафѣ.

— Поди-ка сюда, мальчикъ.

Тотъ подошелъ, не безъ смущенія. Никифоръ слегка погладилъ темные рафины кудерки.

— Это ты на приютъ намъ собиралъ, среди знакомыхъ?

— Я.

Никифоръ поцѣловалъ его въ лобъ — болѣзненными, блѣдными губами. Рафа ощутилъ запахъ ладана и чего-то сладковатаго («отъ бороды пахло дымомъ и духами»), рассказывалъ потомъ матери).

— Я боюсь, — прошепталъ Рафа, что вы выгоните Котлеткина. У него отецъ безработный. И онъ самъ очень... больноватый.

— А ты не бойся, — тоже тихо отвѣтилъ Никифоръ. — Богъ дастъ, и не исключимъ.

Рафа нѣсколько осмѣлѣлъ.

— У меня есть одна знакомая дама, госпожа Стаэле. Она можетъ дать... une bourse... нуждающемуся мальчику. Она обѣщала. Надо только портретъ, письмо. И что-бы вы тоже попросили за него...

— Ну вотъ видишь! Чего-же бояться? Все уже сдѣлано!

И Никифоръ поднялся.

\* \*

\*

Генераль рѣшилъ говѣть на совѣсть. Сталь постить-ся, съ нѣкоего дня выстаиваль уже всѣ службы, до окаменѣнія въ ногахъ и голодной легкости въ сердцѣ. Мельхиседекъ поддерживаль его въ этомъ. Просиль также «просмотрѣть умственнымъ взоромъ всю жизнь, все въ ней подобрать» — и даже на бумажку занести какъ можно обстоятельнѣй. Въ день исповѣди ничего не «вкушать» и прочеть книжечку наставленій кающемуся.

— Высочайшее дѣло, Михаилъ Михайловичъ, имѣйте въ виду. У васъ есть такое иногда. . . вольное отношеніе и взглядъ. . . но не для сего момента, я прошу васъ!

Онъ напрасно опасался: генераль былъ настроенъ серьезно. Никакихъ улыбочекъ, никакихъ задираній.

Вечеромъ передъ исповѣдью сидѣли они у источника, на зеленой лужайкѣ противъ Собора и входа въ аббатство. Смеркалось. Тучи тихо стояли, сгущая мракъ. Иногда зарницы проблескивали. Было душно.

— Гроза идетъ, я чувствую, сказала Мельхиседекъ. — Я никогда не ошибаюсь въ природѣ, Михаилъ Михайлычъ. Нынче будетъ очень громовая ночь.

Къ источнику — прозрачной, холодной струѣ изъ небольшого обелиска — подходили съ ведрами и кувшинами дѣти, женщины, старухи. Генераль и Мельхиседекъ сидѣли на двухъ бѣлыхъ камняхъ-тумбахъ: какъ два сторожевыхъ льва. Въ полутьмѣ перекидывались словами сосѣдки, подставляя ведра. Потомъ уходили, и лишь серебряно, однообразно-усыпительно журчала струя. Зарницы зеленовато освѣщали сидѣвшихъ. Иногда вдалькѣ, за ихъ спинами, возникаль

свѣтъ на дорогѣ. Обелискъ начиналъ дрожать узкою тѣнью на древнемъ аббатствѣ — автомобильно-золотой снопъ все ближе, тѣнь растеть, и тѣнь грибообразнаго строенія дрожить какъ на экранѣ, и когда бѣшено вылетитъ автомобиль — вдругъ поползутъ эти тѣни вбокъ, а все зазолотѣетъ въ свѣтѣ — только на мгновенье — автомобиль уже за угломъ, поднявъ за собой бѣлую пыль.

— Вотъ вамъ и вѣчность — Мельхиседекъ показал на струю — и мгновенье (на унесшуюся машину).

— Я, о. Мельхиседекъ, теперь болѣе въ вѣчности. — отвѣтилъ генераль. — Но у меня есть и смутныя, темныя вещи-сь.

— Я на это надѣюсь, иначе зачѣмъ-бы вамъ исповѣдываться. Я надѣюсь, что вы не такъ собой довольны, какъ та дама, что недавно у меня исповѣдалась. Что ни спросишь, ни въ чемъ не грѣшна. «Ну, говорю, можетъ на прислугу иногда сердитесь?» «Никогда». «Пересудами занимаетесь?» — Тоже нѣтъ. — Да вотъ такъ все нѣтъ и нѣтъ. Я ей наконецъ и говорю: «Стало быть, вы святая».

Вдалекѣ загремѣло. Зеленоватый зѣвъ раскрылся, мигнулъ, охватилъ фосфорическимъ свѣтомъ Соборъ, лужайку и сидѣвшихъ. Нѣсколько капель сильно по сухмени травы хлопнули.

Мельхиседекъ поднялся.

— Даже и скорѣе, чѣмъ я думалъ. Нѣтъ, идемъ ко мнѣ, тамъ и договоримъ. Да и пора. Запретъ Флавианъ обитель, чтó мы съ вами будемъ тогда дѣлать?

Они прошли подъ готическимъ сводомъ воротъ. Въ

садикъ около Іосифа Обручника еще сидѣло нѣсколь-  
ко мальчиковъ — Котлеткинъ, Рафа. Но уже Авраа-  
мій уводилъ ихъ. Рафѣ разрѣшили на эту ночь лечь  
въ общей спальнѣ воспитанниковъ.

Въ кельѣ-же Мельхиседека, небольшой узкой ком-  
наткѣ съ высокимъ потолкомъ, кіотомъ въ углу, гдѣ  
теплились разноцвѣтныя лампадки (чашечка одной  
изъ нихъ покоилась на серебрянномъ голубѣ, распро-  
стершемъ крылья) — при неясномъ мерцаніи и  
вспышкахъ бѣло-зеленыхъ молній за окномъ началась  
бесѣда. Мельхиседекъ сѣлъ на свое ложе, такое-же  
сухое, худенькое, какъ онъ самъ. Генерала посадилъ у  
стола.

— О. Мельхиседекъ, — началъ Михаилъ Михай-  
лычъ — не сразу, какъ бы раздумавшись. — Вотъ я  
и передъ вами. . . Я и вообще много о себѣ размыш-  
ляю, а эти послѣдніе дни, въ виду исповѣди, и особен-  
но. Да. . . что-же могу сказать? Жизнь моя прошла —  
такъ-ли, иначе-ли. . . — все равно. Много я въ ней на-  
грѣшилъ, по характеру своему строптивому, но много-  
ли сейчасъ о грѣхахъ мучусь? По правдѣ говоря, не  
очень. . . Ну, разумѣется, не такъ ангельски покоенъ,  
какъ та дама ваша. . . «святая». Все-таки меньше, на-  
вѣрно, угрызаюсь, чѣмъ-бы слѣдовало. Но нѣкія стран-  
ности въ себѣ замѣчаю, или непріятныя вещи, разу-  
мѣется, отрицательныя. И хотѣлъ бы ихъ высказать.

Онъ опять помолчалъ.

— Вѣдь жизнь, какъ будто бы, о. Мельхиседекъ,  
смирять меня? Бывшій командиръ корпуса, нынѣ  
безработный и полуголодный. Ну, вообще послѣдній  
человѣкъ. Да. А я не смиряюсь! Мнѣ будто говорятъ:

вотъ ты послѣдній! Опустн главу, взоръ долу, какъ полагается. А я не опускаю. И не чувствую себя послѣднимъ. Не то, конечно, чтобы мои заслуги какія или дарованія. . . — этого у меня немного. Но откуда, скажите, это ощущение. . . какъ былъ корпусный командиръ, баринъ и начальникъ, и купить меня нельзя, и на подлость никогда не пойду, такъ и остался. Подумаешь — какая сила! а не могу отъ себя отрѣшиться, о. Мельхиседекъ — какіе-бы бисерные мѣшечки ни сшиваль, и сколько-бы двуглавыхъ орловъ ни царапаль на яичкахъ.

— Это все разумѣется. Я такъ васъ и понимаю, Михаилъ Михайловичъ. Вамъ очень трудно смириться.

— А между тѣмъ, это главное у насъ, о. Мельхиседекъ?

— Главное, — почти грустно отвѣтилъ Мельхиседекъ. — Самое главное. Но и самое трудное-съ. Такъ что вы не извольте удивляться, что малаго достигли.

— Да, я не совсѣмъ таковъ, какъ вамъ хотѣлось бы, о. Мельхиседекъ. — Я все помню. И не все могу прощать. Я очень многое не простилъ, хотя Господь сказалъ, что прощать надо до семижды семи разъ. Я зналъ одного полковника, въ гражданской войнѣ, у котораго замучили всю семью. Онъ потомъ очень любилъ смотрѣть, какъ большевиковъ вѣшали. До страшнаго цинизма доходилъ. Быть можетъ, это уже начало безумія. . . Садился пить чай на крылечкѣ, а чтобы передъ нимъ петлю на человѣка накидывали. Это жизнь. Я подобнаго не продѣлываль, но все-таки. . . все-же сказать, въ такую даже минуту какъ сейчасъ, что простилъ тѣмъ, кто Россію мою распялъ. . .

Это будетъ невѣрно. Нѣтъ у меня силъ простить, о. Мельхиседекъ. — Если-бы далъ Богъ. . .

— Только молитва, — сказала Мельхиседекъ.

— Какъ понимать это?

— Когда вы молитесь, вы съ высшимъ благомъ соединены, съ Господомъ Иисусомъ — и Его свѣтъ наполняетъ васъ. Лишь въ этомъ свѣтѣ и можете стать выше человѣческихъ чувствъ и страстей.

— Ну, такъ видимо я не становлюсь.

— А надо, — тихо, съ нѣкоторымъ упорствомъ сказала Мельхиседекъ.

— Сказано: «возлюби ближняго своего какъ самаго себя». Я тоже не могу, о. Мельхиседекъ. Во-первыхъ, себя я безконечно больше люблю. И ничего съ этимъ не подѣлаешь. Второе: мнѣ просто очень трудно любить! Я любилъ покойную Ольгу Александровну. . . страстно-съ, и деспотически. . . Но это не по христіански, другая любовь. Теперь люблю Машеньку — опять иною, отцовскою любовью, но тоже деспотически. (Пріѣдетъ она, можетъ, ей и нелегокъ покажется характеръ отца? Все можетъ быть). Ну, еще наберется нѣсколько человѣкъ, кого — не то что люблю, а уважаю, «хорошо отношусь». А къ большинству — вполне равнодушенъ! Другихъ просто терпѣть не могу! Мнѣ иногда, о. Мельхиседекъ, просто приходится сдерживаться. . . Почему я, нищій, чувствую себя здѣсь такимъ барининомъ и судьей? Мнѣ всѣ кажутся лавочниками. Знаете, быстро. . . быстрошниками. Сытые лица за кассой, красныя щеки, раскормленныя жены, эти су, су. . . аперитивы, автомобильчики, вся.

знаете эта воскресная пошлость, мѣщанство... Я въ Россіи не такъ чувствовалъ.

... Иногда ѣдешь въ метро, смотришь на разныхъ рабочихъ, старухъ жирныхъ съ бородавками, на грязныя руки, обкусанные ногти, на какого-нибудь храпящаго приказчика... — вы, конечно, жалѣете ихъ, о Мельхиседекъ, а я только думаю: «Господи, какъ они мнѣ противны...» Вы вотъ окошечко отворяете, вамъ, пожалуй, душно отъ моихъ словъ стало, но вѣдь я-же человѣкъ, во мнѣ ничего ангельскаго нѣтъ. Самый обыкновенный человѣкъ-съ.

Мельхиседекъ дѣйствительно отворилъ окно. Гроза шла стороной. Все-же отъ грома дребезжали иногда стекла, и въ зеленыхъ вспышкахъ вставалъ на мгновение садъ, каштаны, столикъ подъ деревьями. Но вѣтеръ стихъ. Шель ровный, очень теплый дождь.

На послѣднія слова генерала Мельхиседекъ улыбнулся.

— Нѣтъ, я не для того отворилъ окно. А я люблюсь такой дождичекъ, и благоуханіе... очень прекрасно.

— И я люблю. И деревню люблю, покось, солнце... . . . Уродство-же съ трудомъ выношу, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Вы любуетесь сейчасъ благоуханіемъ ночи, а я вамъ еще расскажу... .

И рассказалъ, какъ ненавидѣлъ недавно въ метро старуху, похожую одновременно на овцу, лошадь и англичанку — розовую, съ бѣлыми волосами, упорно ковырявшую въ носу.

— Михаилъ Михайлычъ, — тихо перебилъ Мельхиседекъ: — а васъ смущаетъ, что вообще зла и без-

образія въ мірѣ какъ бы слишкомъ много? Точно-бы и не продохнуть человѣку? Дурные торжествуютъ, богатые объѣдаются, сильные міра сего продажны?

— Да, о. Мельхиседекъ. Именно. Меня именно это смущаетъ. Почему вы, однако, задали мнѣ этотъ вопросъ?

— Насколько я васъ понимаю, по характеру вашему, этотъ страшный вопросъ, дѣйствительно весьма трудный для пониманія, долженъ особенно васъ беспокоить. И думаю, вы не прочь были-бы сразиться со зломъ такъ, какъ нѣкогда воевали въ окопахъ.

Генераль волнуясь сталъ говорить о царствѣ зла.

Было около одиннадцати, когда разговоръ кончился. Генераль сидѣлъ на подоконникѣ, молчалъ. Говорить ему болѣе не хотѣлось. Онъ смотрѣлъ въ ночь — въ непроглядную, безмѣрную тишину. Все уже спало въ монастырѣ.

Мельхиседекъ поднялся съ постели.

— Вотъ вы и высказались, Михаилъ Михайловичъ. И смиритесь, и полюбите ближняго цѣли столь высокія, что о достиженіи ихъ гдѣ-же и мечтать. Но устремленіе въ ту сторону есть вѣчный нашъ путь. Последнія тайны справедливости Божіей, зла, судебъ міра для насъ закрыты. Скажемъ лишь такъ: любимъ Бога и вѣримъ, *плохо* Онъ не устроитъ.

... Я полагаю, что вы теперь успокоились. Приступимъ-же къ таинству покаянія.

Мельхиседекъ надѣлъ ветхую епитрахиль, подошелъ



къ небольшому аналою предъ кіотомъ, гдѣ лежалъ Евангеліе. Голубь Духа Святого простиралъ подъ лампадкой горизонтальныя крылья. Вспышки молній освѣщали сѣдые, тонкіе волосы Мельхиседека, худенькія руки. «Мельхиседекъ, священникъ Бога Всевышняго», вспомнилъ вдругъ генераль. «Прообразъ таинственный. . . священникъ Бога Всевышняго».

Онъ сталъ на колѣни. Мельхиседекъ накрылъ его епитрахилью и прочелъ вслухъ молитву передъ исповѣдью — генераль повторялъ за нимъ слова. Какъ бы плавный, но мощный ударъ нисходилъ на него, стирая годы. Подъ епитрахилью былъ онъ какъ младенецъ. Какъ младенецъ тихо признавалъ вины. И по младенческимъ, не старческимъ щекамъ слезы текли, когда знакомый, слабый, близкій и далекій голосъ таинственнаго нынѣ Мельхиседека произнесъ сверху:

— Властію, данною мнѣ отъ Бога, я, недостойный іерей. . .

\* \*

\*

— Ладно, — говоритъ Котлеткинъ. — Напишу твоей толстухѣ. Да она по русски и не понимаетъ?

Въ церкви идетъ литургія. Котлеткинъ и Рафа сидятъ близъ Іосифа Обручника, въ садикѣ при аббатствѣ. Послѣ ночного дождя все сіяетъ, блеститъ. Свѣжи капельки въ настурціяхъ. Бойки воробьи, скачущіе вокругъ лужицы. И такъ сине небо съ легкимъ, и туманнымъ паромъ!

У Рафы въ рукахъ письмо — только что почтальонъ подалъ.

— Ничего, что по русски. Ей переведутъ.

Котлеткинъ смотритъ на письмо.

— Это что-же, изъ ССР?

— Да, генералу.

Оба осматриваютъ конвертъ.

— У него тамъ дочь, — говоритъ Рафа не безъ важности. — Онъ ее сюда выписалъ. Она должна очень скоро прибыть.

Небольшіе колокола (ими управляетъ Авраамій, дергая изъ коридора веревки), звонятъ къ Достойной.

— Генераль нынче... какъ это... fait sa communion... — Я долженъ его поздравить?

— Вотъ и не прозѣвай. Теперь онъ какъ разъ скоро причащаться будетъ.

— Вы увѣрены?

— Меня, братъ, ужъ тутъ старички обучили.

Рафъ не хочется уходить отъ великолѣпнаго Димы Котлеткина. Пусть тотъ даже и не благодарилъ его за вмѣшательство — ничего. Онъ особенный, ему все можно.

Все-же въ извѣстный моментъ Рафа идетъ въ церковь. И попадаетъ какъ разъ во время. Никифоръ, улыбаясь серебряными зубами, поздравляетъ Михаила Михайлыча. «Съ принятіемъ св. Тайнъ!» И Мельхиседекъ, и другіе. Рафа подходитъ, тоже поздравляетъ. Цѣлуетъ жесткіе, прокуренные усы, видитъ надъ со-

бою глаза старческіе, влажные — уже не спрашиваетъ. не попала-ли соринка.

Въ лѣвой рукѣ у него письмо. Въ немъ сообщаютъ, что у Машеньки, отъ хлопотъ и волненій случился припадокъ сердца.

Черезъ нѣсколько минутъ узнаетъ генераль, что похоронена Машенька въ Дорогомиловѣ.

## КОЛЕБАНИЕ ДОМА

Дора Львовна вышла утромъ за молокомъ. Въ этотъ часъ мужчины отправляются на службу. Коробки съ объѣдками и соромъ стоятъ у дверей. Консьержки въ матерчатыхъ туфляхъ метутъ у подъѣздовъ. Проѣзжаетъ на велосипедѣ юноша съ огромными хлѣбами.

Дору Львовну привѣтствуютъ знакомыя булочницы и молочницы, съ утра нетрезвая прачка Мари. Лѣтній день сіяетъ надъ ней, легко вѣетъ листьями на каштанахъ. Огибая уголъ, нельзя не взглянуть на домикъ во дворѣ. Въ комнатѣ Анатолія Иваныча жалюзи спущены. Уѣхалъ? Въ деревню? Въ Ниццу? Или просто сбѣжалъ, не заплативъ Жаненамъ?

У «Maggi» въ очереди замѣчаетъ она знакомый профиль. Пока крѣпкая брюнетка за прилавкомъ, съ красными руками, отливаетъ свои литры кружечками и завертываетъ пакеты масла. Дора Львовна успѣваетъ сообразить, что это тоже сосѣдъ, шофферъ Лёва.

Черезъ нѣсколько минутъ, изъ прохладно-кисло-  
вой молочной попадаютъ они въ булочную, дышащую  
тепломъ и вкусной сухостію, сладкимъ, прянымъ. Ле-  
ва вымытъ, «чистенько» одѣтъ, любезно кланяется.  
Нагруженные добромъ своимъ, съ кринками и сака-  
ли, булками, кофеемъ возвращаются они по переулку.

— Извиняюсь, госпожа Лузина, вамъ, кажется, до-  
вольно много приходится бывать по кліентамъ. Не по-  
падалась-ли, случайно, квартира. . . à louer? Три ком-  
натки, комфоръ модернъ, шоффажъ?

Дора Львовна отвѣтила, что сейчасъ не знаетъ, но  
будетъ имѣть въ виду.

— А это собственно для кого?

Лева слегка улыбнулся.

— Въ моей жизни произошли нѣкоторыя перемѣ-  
ны. . . вамъ, кажется, трудно? Разрѣшите понести са-  
чокъ. . . я, видите-ли, женюсь.

— А-а, поздравляю! Да пожалуй, и догадываюсь  
на комъ. . .

— Въ нашемъ домѣ все какъ на ладошкѣ, ничего  
не утаишь. . . У Валентины Григорьевны были кое ка-  
кія затрудненія съ бумагами, но теперь все улажено.  
На будущей недѣлѣ намѣрены перевѣнчаться и пере-  
мѣнить квартиру. . . потому что съ Зоей Андреевной  
намъ будетъ уже тѣсно. И какъ мы оба работаемъ. . .

Они поднимались уже по винтовой лѣстницѣ. До  
перваго этажа шель коврикъ, дальше дубовыя, слегка  
выщербленныя, но натертыя ступени. Разсвѣанный  
свѣтъ стекалъ сверху — и подымаясь входили они изъ  
полумглы все яснѣе въ эту область свѣта. У своей две-

ри Дора Львовна поблагодарила. Слегка задохнувшись, сказала:

— Ну, желаю счастья. Значить, вы насъ покидаете?

— Такъ точно.

Дверь напротивъ — капина. Дора Львовна вложила ключъ, медленно вошла въ свою квартирку. Неуютно она себя чувствовала! Каждый разъ теперь, проходя по площадкѣ, испытывала нѣчто тягостное, щемящее — смѣсь мрака, стыда. . . — и сейчасъ просто позавидовала этому Лёвѣ, что онъ уѣзжаетъ. «Заведеть себѣ un lit national, будетъ въ выходной день засѣдать съ женою въ синема, носить по субботамъ деньги въ сберегательную кассу.

Капина квартирка безмолвна. Хозяйка рано ушла. Если-бы Дора, духомъ невидимымъ, могла проникнуть туда, охватила-бъ ее щемящая пустота: будто и не жила тутъ живая дѣвушка. Будто-бы ничего вообще не было.

Но въ столѣ, въ ящикѣ могла-бы посѣтительница найти ученическую тетрадь, съ ровными линейками — и въ ней записи.

Дора вынимаетъ изъ клеенчатого сака провизию. Ясно ей представляется новая квартира. Новый домъ. недалеко рафинѣ Лицей. И все заново. «Тутъ какъ на ладошкѣ. . .» — да, ужъ конечно. Всѣ жильцы, эписъерки, консьержки насквозь тебя знаютъ.

Молодецъ Лёва!

\* \*

\*

... Ни порядка, ни обстоятельности въ записяхъ Капы не было. На одной страницѣ просто слово:

— Поповна!

На другой рисунки — какія-то рожицы, безконечные зигзаги, въ видѣ молній, какъ изображаются на рекламахъ — усталая рука безвольно чертила ихъ.

— «А Мельхиседекъ былъ славный человекъ...» Эта память Апухтина тянулась тоже чуть не черезъ всю страницу — одна подъ другой строчки:

— «А Мельхиседекъ былъ славный человекъ».

Но чаще записи болѣе связныя, и подлиннѣй. Кое гдѣ даты, кое гдѣ нѣтъ. Можно понять, что всѣмъ этимъ занялась она съ весны. На одной страницѣ наклеена вырѣзка изъ французской газеты. Тамъ рассказывалось про стараго литератора, нѣкогда, писавшаго о паркахъ и садахъ Франціи, церквахъ Парижа, нынѣ же погибающаго въ нищетѣ. Хозяинъ грозитъ выселить его и, главное, выбросить рукописи, весь архивъ. Журналистъ, побывавшій у старика, добавлялъ: «Можетъ быть, тѣло нѣкоего полуслѣплого историка и вытащатъ предъ термомъ изъ Сены». Внизу капиной рукой подпись: «Справиться у нашего генерала. Не удивишь. французъ. И не растрогаешь». Потомъ совсѣмъ иное. Напримѣръ:

— «Людмила начинаетъ процвѣтать. Патентъ на изоляторъ получила, денежки загребаешь. Купила автомобиль. Женихъ обучилъ править. Въ воскресенье возила меня въ Шартръ, куда французы ѣздятъ изъ Парижа съ любовницами. Женихъ называется Андрэ, инженеръ, не то химикъ, не то электротехникъ. Нѣтъ, кажется, химикъ. *Bien gommé*. И въ роговыхъ очкахъ.

Помогъ патентъ выправить. Людмила начинаетъ забывать по русски, въ ней есть уже иностранное, какой-то привкусъ. . . — и высокомѣрие къ русскимъ. Ну, да мы нищѣ, за что насъ уважать? А тогда, въ Константинополь. . .

Но меня она еще помнитъ. Удивляюсь.

Скоро забудетъ и меня, какъ и всѣ, впрочемъ (последнія слова подчеркнуты). Да наплевать. Она меня назвала «Пароходъ Капитолина» — это такой пароходъ былъ: все на мель садился! Пожалуй вѣрно назвала. Вспомнишь жизнь. . .

. . . Городишко русскій. Какое убожество! А тамъ война, революція. . . Мель и мель. Нѣтъ, чего вспоминать. Ужасъ. (Вѣдь дѣвченкой, прямо изъ захолустья на гражданскую войну попала!)

. . . 18 мая. Въ самый этотъ день я отлично могла погибнуть. Госпиталь нашъ захватили, раненыхъ у насъ на глазахъ добили. Меня и сестру Елену назначили въ баню, мыть «красныхъ казаковъ». Нашелся человекъ, спасъ насъ въ послѣднюю минуту. Т. е., вѣрнѣе, меня. Елена успѣла уже принять яду (а я была въ такомъ отупѣннн, что даже отравиться не сумѣла). Но ушла ночью въ степь. Недѣлю звѣремъ жила. И добралась къ своимъ.

Вотъ нынче какой славный юбилей! Моего спасенія — неизвѣстно для чего. Вѣрнѣе, для того, чтобы потомъ въ Константинополь чуть не утопиться, встрѣтить Анатолия, здѣсь служить въ кондитерской. . . чтобы Анатолий рядомъ поселился и началось-бы опять все. . .

22 мая. Вчера заходилъ монахъ, Мельхиседекъ. Онъ тутъ у генерала бываетъ. И со мной знакомъ, не-



множко. Старичекъ довольно славный, но вѣроятно, считаетъ назначеніемъ своимъ спасать ближнихъ. Я недавно прочла, что Толстой находилъ у себя болѣзненную черту: манию исправленія челоуѣчества. Т. е., моль, никакъ безъ него не обойтись. Онъ все знаетъ, и своимъ толстовскимъ пальцемъ укажетъ, гдѣ истина.

Этотъ старичекъ потоньше. Онъ не напираетъ и не пристаётъ. Онъ, пожалуй, больше собою дѣйствуетъ, своимъ обликомъ, скромнымъ голосомъ, сѣдою бородой. Если-бы жизнь состояла изъ такихъ стариковъ, т. е. вообще такихъ безобидныхъ и благожелательныхъ людей, то возможно, было-бы и пріятно жить.

Или: если такъ вѣрить, какъ они: въ посмертный судъ, въ торжество справедливости тамъ... Загробная жизнь! Не могу себѣ этого представить. Чтобы я умерла, а потомъ воскресла... нѣтъ, не понимаю! Я когда Евангеліе читаю, то часто плачу, а только все-таки не понимаю. Потому, должно быть, и распяли Его, что такой былъ... неподходящій Онъ для нашей жизни. А воскресъ-ли? Можетъ быть, это только сказка?

Мельхиседекъ говоритъ, что нужно молиться, и побольше. Тогда все смоешь, всѣ пустяковыя сомнѣнія. «Это», говоритъ, «у васъ сейчасъ просто раздраженіе естества и духъ противорѣчія. Тяжелый духъ, преодо-лѣваемый лишь молитвой, т. е. общеніемъ съ высшимъ благомъ».

Очень хорошія слова. Но мнѣ отъ нихъ не легче.

25 мая. Заходилъ Анатолій. Я его не приняла. Нѣтъ, довольно. Начнетъ плакаться — я какъ дура раскисну.

Хотя, впрочемъ, теперь и не раскисну. . . Это еще все по прежнему я считаю. А въ сущности: сейчасъ душа моя вовсе бесплодна, вовсе выжжена. Ни-че-го! Когда была сестрой, раненыхъ жалѣла. Потомъ жалѣла Анатолія. Потомъ себя. Теперь никого. Можетъ быть, я погибаю? Можетъ быть. И это ничего не значить. Парижъ такъ-же будетъ грохотать и безъ меня. какъ и со мной. Міръ такъ-же будетъ въ рукахъ мерзавцевъ. . .

Июнь. Наши уѣхали въ монастырь — генераль. Рафа, Мельхиседекъ. Въ домѣ остались однѣ бабы: я, благодѣтельница челоѳчества Дора, дура Валентина, grue Женевьева. Небольшая, но теплая компанія. Дора могла-бы бесплатно перевязать всѣхъ раненыхъ міра. Валентина — сшить всѣмъ дамамъ платья годѣ, со «сборами». Она выходитъ замужъ за шоффера и они будутъ разводитъ себѣ подобныхъ. Женевьева изъ нихъ самая основательная: ходитъ по кафѣ, торгуетъ собой en gros et en détail, если-бы ей предложили мыть красныхъ казаковъ, она спросила-бы, почему съ головы и снесла-бы трудовые гроши въ сберегательную кассу.

15 июня. Вчера послѣ сѣлужбы домой не вернулась. Надоѣли свиныя котлетки, жарить ихъ на сковородкѣ, изо дня въ день. . .

Около Rond-Point попался ресторанчикъ: «Tout va bien» — тамъ мы иногда съ Анатолиемъ обѣдали (креветки, мули). Грязновато, вродѣ бистро. Хозяинъ черненькій бретонецъ, все тотъ-же. Я сѣла на воздухъ, подъ парусиной. Отъ тротуара отдѣляли кадки съ зеленью. Столики. скатерѣтки въ пятнахъ. комья сѣрой

соли въ солонкахъ. Приказчики и такія-же служащія дѣвицы, какъ и я.

Солнечный лучъ, косой, закатный. Бла я свой «шатобрианъ» и просто продохнуть не могла. . . — кажется, слезами бы вмѣсто вина запила. «Tout va bien» — почему, почему bien?

Потомъ солнце сѣло и я вышла на Елисейскія поля. Къ этому самому Rond-Point. Какъ красиво! Фонтаны. . . На однихъ хрустальныя голубки, на другихъ бѣлочки грызутъ орѣхи — кедровые, должно быть? И все это вѣчно моется туманомъ брызгъ — фонтаны вродѣ букетовъ, такъ и бьютъ изъ голубей и бѣлочекъ, и на нихъ ниспадають. Позже зажгли внутри ихъ свѣтъ, стали эти букеты бѣлыми, съ золотымъ отливомъ. А вокругъ — автомобили, цѣлыми потоками по авеню, безъ конца-начала. Красныя, фіолетовыя рекламы къ Этуали. И толпа, толпа. . .

Замѣчательно красиво. Но холодно, все-же. Все будто выщелочено. Какъ льняные парижскіе волосы у дамъ, кислотой травленные.

Я долго бродила. Подъ каштаномъ, въ зеленой мглѣ, гдѣ входъ въ метро, увидѣла на скамьѣ Анатолія. Онъ смотрѣлъ на фонтанъ, на бассейнъ. Край бассейна былъ залитъ брызгами. Анатолій меня не видѣлъ. Онъ держался рукой за бокъ, точно болѣло что. У меня, конечно, похолодѣли ноги. Такъ ужъ полагається. Что-то дрогнуло. . . подойти? Нѣтъ, прошла. И съ горделивымъ такимъ видомъ, точно побѣдительница. Глупо, конечно. Ну, что подѣлаешь.

17-го. Мнѣ иногда бываетъ ужасно, ужасно себя жалко.

18-го. Встрѣтила Женевьсу. Она завела себѣ собачку. Если не помру, тоже заведу. — На домикъ Жана появилась надпись: terrain à vendre. Прожились старички.

21-го. Буду-ли плакать, молиться, биться головой объ стѣнку, ничего не измѣнится. Какая есть моя судьба, такая есть.

... Наши возвратились. И генераль. и Рафаиль. У генерала умерла дочь въ Россіи. Теперь нечего ему ждать. Все идетъ правильно. Меня преслѣдуетъ послѣднее время стишокъ, давно когда-то, еще въ Россіи, заскочившій:

Жизнь, молвилъ онъ, остановясь,  
Средь зеленѣющихъ могилокъ,  
Метафизическая связь  
Трансцендентальныхъ предпосылокъ.

Послѣднихъ строкъ не понимаю. Но отъ нихъ хочется плакать.

10 июля. Заѣзжала на автомобиль Людмила съ Андрѣ. Они только что вернулись съ юга, собираются теперь въ Вѣну и назадъ черезъ Италію. Андрѣ зашелъ ко мнѣ, и изъ окна увидѣлъ вывѣску, что продается земля. «Да, тутъ слѣдовало бы построить новый домъ, современной техники». «Навѣрно, скоро и снесутъ». сказала я. (И дѣйствительно такъ думаю).

Людмила пригласила меня прокатиться за городъ. «Ты мнѣ не нравишься. У тебя одичалый видъ». А Андрѣ въ своихъ роговыхъ очкахъ все присматривал-

ся къ нашимъ квартиркамъ, лѣстницѣ, садику. «Одной той земли мало. Но если-бы вашъ хозяинъ согласился продать мѣсто, гдѣ стоитъ этотъ домъ, тогда. . . Владѣлецъ могъ бы войти пайщикомъ въ наше предприятие».

Онъ сѣлъ за руль. Мы выѣхали мимо Этуали. Но тамъ, дальше, стало лучше. Направо засинѣли дали, мы проносились деревушками, гдѣ глядѣли на насъ тощіе ребята, а потомъ свернули проселкомъ, къ рѣкѣ. Это мѣсто такое, называется Pergola. Ресторанъ и отель на берегу Сены. Сюда тоже французы ѣздятъ съ дамами.

Мы сидѣли на террасѣ у самой рѣки, намъ чай подавали подъ зонтиками, съ разнымъ добромъ — кэкссы, печенья, я это не очень люблю, надоѣло въ кондитерской. У Андрэ видъ самоувѣреннаго, богатаго человека. Да онъ такой, впрочемъ и есть. Говорилъ за чаемъ, что и Олимпиада дастъ денегъ на домъ: какъ разъ ищетъ надежнаго помѣщенія средствъ.

Я смотрѣла на Сену. Удивительны ея струи. Напротивъ островокъ съ ивами, тополями. Теченіемъ тянетъ и вьетъ въ водѣ травы, куличокъ низко пролетѣлъ, сѣлъ на отмель, запрыгалъ. . . За рѣкой коровы, луга, даль сизая.

Людмила смотритъ на меня синими, холодными глазами. Можетъ быть, они вовсе теперь залакированы, разъ навсегда закрашены. Мнѣ казалось, что я такъ же одна, какъ въ тотъ вечеръ на Елисейскихъ поляхъ.

— Капитолина, ты нынче отсутствуешь, сказала Людмила, когда мы садились въ машину. — Гдѣ ты? Что съ тобой?

12-го. Жара. Парижъ пустѣеть. Послѣзавтра они будутъ праздновать свою Бастилію. . . Съ ума можно сойти отъ веселящагося народа. Людмила и Андрѣ уѣхали — всѣ порядочные люди разѣзжаются.

Даже и français mouens, у кого есть économies, повезутъ своихъ Жаковъ и Жоржеттъ на океанъ, куда ни-будь въ Порнишэ.

Отъ жары я вышла вечеромъ на Сену, сидѣла на узкомъ островкѣ съ поэтическимъ названіемъ: *Île des songes*. Но мало поэзіи. Что-то въ родѣ бульварчика, убогія деревца, купальни на Сенѣ. Немножко прохлады. Кое гдѣ парочки — тоже третій сортъ. И поѣздъ метро, съ регулярностью маятника проносящійся по виадуку Пасси. Я сидѣла безсмысленно. Сена такъ Сена, Парижъ такъ Парижъ. Поднялась, постояла на мосту. Какая мгла сухая надъ городомъ!

Солнце мутно, тяжело закатывалось. Въ розоватомъ туманѣ храмъ *Sacré Coeur*, на Монмартрѣ. Вотъ ужъ подлинно «корабль». . . — плыветъ надъ городомъ — ни до чего не доплываетъ.

18-го. Они отпраздновали свою Бастилію. Мнѣ нѣтъ до нихъ ни малѣйшаго дѣла. Жара давитъ. Очень плохо сплю. Вчера опоздала на службу. Никого не вижу — и не хочу. Кругомъ наши русскіе, за этими стѣнами — мнѣ все равно.

. . . Вечеромъ читала странную вещь: одинъ рѣшилъ покончить съ собой, нюхалъ ядъ. И записывалъ. Записки эти остались. Очень интересно. Это было ночью, на разсвѣтѣ (чаще всего на разсвѣтѣ люди умираютъ — и рождаются тоже). Онъ лежалъ въ номерѣ гостиницы, на кровати, и наблюдалъ за собой. Тутъ-же часы. Взглянетъ, и запишетъ. 4 ч. 32 м. — звонъ въ ушахъ.

4 ч. 35 м. — звонъ сильнѣе, лѣвая рука холодѣеть. И дальше въ такомъ-же родѣ. Какая то драма — кто знаетъ! (У него близкіе были, гдѣ-то въ провинціи. А онъ пріѣхалъ въ Парижъ одинъ. Врачъ. Смерть занимала съ научной стороны. . . Какъ, молю, это дѣлается?). Успѣлъ мысленно и съ семьей попрощаться. . . Ну, Бога-то не вспомнилъ. Мельхиседекъ остался-бы недоволенъ этой исторіей. Да. Но ни добродѣтельной Доры, ни добродѣтельнаго Мельхиседека къ счастью при немъ не оказалось, и онъ успѣлъ записать: 4 ч. 55 м. — плыветъ, сливается. Почти ничего не чувствую. Едва пишу. 4 ч. 57 м. — уми. . . — вотъ это и есть смерть. Ничего больше. Трагедія, называется? Или мистерія? Не знаю. И никто ничего не знаетъ. Притворяются.

. . . Такъ его и нашли. На кровати, все въ порядкѣ, лежитъ навзничъ. Рука упала. Рядомъ книжечка, часы. Они остановились. Изъ сочувствія?

## НОЧЬ

Въ самомъ имени «Валентина» было для Лёвы что-то круглое и благозвучное. Круглотой, теплотой и уютотъ представлялась будущая съ нею жизнь. Квартиру они наняли въ три комнаты. Одна предназначалась Зоѣ Андреевнѣ. «Старушка врядъ-ли долго протянетъ», рассуждалъ Лёва. «У нея былъ уже припадокъ грудной жабы. Значить, до второго». Послѣ же «второго» въ комнатѣ ея помѣстятъ ребенка (ранѣе онъ не появится).

Левъ не былъ сантименталенъ. Онъ зналъ жизнь, не выпускалъ сбереженій и собирался устроиться прочно.

Валентина Григорьевна подзапустила портновскую дѣятельность: надо обзаводиться, хозяйство, мебель... Бздила на *Magché aux risces*, выбирала, волновалась, и на какомъ нибудь «жесетѣ» тащила въ новую нору то ширмочки, то кресло, то зеркало.

— Въ общемъ, знаете, все трудно, говорила Дорѣ Львовнѣ. — Надо сообразить... — и наморщивала



брови надъ голубыми, немудрящими глазами. — Все время, знаете. . . такъ, голову напрягаешь.

Голова-же не особенно была склонна къ напряженію.

— Въдь все я одна. . . Конечно, Левъ Николаичъ на машинѣ утромъ какъ выѣдетъ, то ужъ на цѣлый день, ему некогда. И сидитъ тамъ, на своемъ Ситрое-нѣ какъ верблюдъ въ пустынѣ. А мамаша въ годахъ и слабая. Ее астма мучаетъ, и этотъ еще у нея. . . какъ это. . . — Лобъ опять наморщивается — нелегко вспомнить. . .

— Ну какъ это. . . еще отъ чего давленіе докторъ мѣритъ. . .

— Склерозъ?

— Именно. Этотъ самый. Мамаша едва по дому успѣваетъ управиться, такъ что она въ этомъ уже не помощница.

У своей пріятельницы Кóтенки, изъ дома Жанень, заказывала она себѣ шляпы. (У этой Кóтенки все завалено болванами для шляпъ, шляпами полутотовыми, иногда въ пакетахъ. На стѣнѣ огромный планъ Парижа. Тамъ записаны телефоны и долги — послѣдніе по мѣрѣ выплаты счеркиваются. По шляпамъ, чрезъ утюгъ шествуетъ временами котъ — равнодушно, или прыгая).

Валентина не очень любила, чтобы заказчица съ ней капризничала. Но сама дѣйствовала съ разборомъ.

— Извини пожалуйста, говорила Кóтенкѣ; эта шляпочка у меня на головѣ какъ дѣтскій кабриолетикъ.

Кóтенка, высокая, худая, нѣсколько восторженная, не смущалась.

— Безумно тебѣ идетъ. У Rose Descat модель сперла.

Возились, передѣлывали. Кóтенька перескакивала съ ноги на ногу, быстро трещала, наводила порядки. И мало по малу «обстановочка», платья, бѣлье, принадлежности кухни принимали подходящій браку видъ.

Самый бракъ близился. Послѣ ряда визитовъ въ управленіе архіепископа, Левъ уладилъ все. Шафера знакомые шоферы. Рафа — мальчикъ съ образомъ (онъ считался теперь знатокомъ церковныхъ дѣлъ. Послѣ поѣздки въ монастырь Фанни увѣряла, что Дора рехнулась и готовить его въ монахи).

Въ день вѣнчанія Левъ блисталъ «чистенькимъ» выходнымъ костюмчикомъ, съ уголкомъ сиреневаго платочка надъ сердцемъ. Горѣли его лакированныя туфли. Лицо розово, сѣрые глаза красивы, холодны, возбуждены. (Это и нравилось Валентинѣ: «хорошенькій, но видно, что не тряпка»).

Галлиполійцы-шафера сіяли. Невѣста въ подвѣчномъ платьѣ, съ бѣлой фатой и флёрдоранжами, взволнованная, раскраснѣвшаяся (а не блѣдная, какъ обычно невѣсты), была хороша — русской мѣщанской миловидностью, неистребимымъ духомъ Сапожка и Темникова, здоровьемъ, недалекостью — особой женской теплотой.

Все шло удачно. Въ мѣру свѣтило солнце, не было жарко. Рѣзво неслись машины. Не такъ долго ждалъ женихъ на паперти невѣсту. И совсѣмъ повезло въ томъ, что отъ вчерашней богатѣйшей свадьбы не убрали еще чуднаго ковра черезъ всю церковь.

Домъ въ Пасси былъ представленъ генераломъ и Дорою Львовной — Капа находилась на службѣ. На свадебнаго генерала Михайль Михайлычъ мало походилъ. Прямо, на вытяжку простоялъ все вѣнчаніе, худой, съ побѣлѣвшими усами — какъ стаивалъ нѣкогда на молебнахъ и обѣдняхъ. Замкнуты, какъ бы и отъединенны были черты его сухого, крѣпкаго лица.

Дора, когда сталкивалась съ православными, ихъ службами, испытывала нѣкое недоумѣніе. Хорошо поеть хоръ. Хорошо соединяетъ руки новобрачныхъ священникъ. . . — все это очень поэтично. Но неужели можно серьезно вѣрить? Придавать этому глубокой, и таинственный смыслъ? Они говорятъ — можно. . . Странно. Очень странно. Искренно-ли все это?

Галлитолійцы держали надъ новобрачными вѣнцы. Вуаль нѣжно колебалась. Прекрасно было то, что надѣваютъ кольца, обручаютъ другъ другу. Взволнованныхъ и лишь теперь поблѣднѣвшихъ обводятъ Льва и Валентину вокругъ наложя. Шафера съ вѣнцами тянутся за ними. Солнце голубымъ снопомъ пронзаетъ куполь. Дора сочла это первокласснымъ театромъ — безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. «Во всякомъ случаѣ, желаю имъ счастливой жизни. . .»

Съ этими словами, когда вѣнчаніе окончилось, подошла она къ Валентинѣ, обняла ее. Генераль улыбнулся, поцѣловалъ ручку. Котенька, въ слезахъ, кинулась на шею. Шаферъ расплачивался въ сторонкѣ. Внизу ждали машины.

Домъ въ Пасси не былъ еще покинутъ. Еще въ него возвратились, на тѣхъ-же машинахъ, въ томъ-же сияющемъ, лѣтнемъ, полупустомъ Парижѣ. У раскрытыхъ дверей квартирки ждала Зоя Андреевна.

Вновь слезы и поцѣлуи. Квартирка въ цвѣтахъ, бѣлоснѣжная скатерть, закуски, батарейка шампанскаго. Это шампанское, скромныхъ сортовъ, открывали на кухнѣ. Оно пѣнилось въ разносортныхъ бокальчикахъ. Со всѣхъ сторонъ къ новобрачнымъ тянулись руки — красныя, къ празднику вымытыя, привычныя больше къ рулю. Чокались, хохотали. Кричали «горько». Въ три часа Женевьева, спускавшаяся по лѣстницѣ (какъ обычно, и въ этотъ день выходила она на службу), слышала хохотъ, ура, шарканье ногъ подъ граммофонъ — и пріостановилась. Ничего не говорилъ вымѣченный взоръ. Ничего не сказала и тогда, когда вспомнила она вчерашнія слова консьержки: «у русскихъ завтра свадьба». То, что русскіе должны шумѣть, это естественно, такъ-же естественно, какъ и то, что она, Женевьева, поколыхивая вялымъ тѣломъ и глядя стекляннымъ взоромъ, сядетъ въ автобусъ, покатитъ къ Мадленъ и начнетъ свои дѣловыя скитанія.

Котенька лепетала что-то кудрявому шаферу — не безъ восторга. Рафа старался съѣсть побольше сладкаго, и держался близъ Зои Андреевны — тутъ сытнѣе (не ошибся).

Къ семи отплясали что полагается, сколь полагается накричались — молодымъ пора трогаться: увѣзжали въ С. Жермень. Та-же шумная ватага провожала ихъ внизъ къ машинѣ. Зоя Андреевна плакала. Дора подобрала Рафу, повела къ себѣ — опасалась, что отъ сладкаго будетъ у него завтра разстройство желудка. Вспоминалось нѣчто очень давнее, тоже шумная свадьба, когда Рафы еще не было, когда соединила она свою жизнь съ Лузинимъ. Для чего это было? Развѣ мож-

но понять? И вообще — можно-ли что-нибудь понять?

Вечеръ опустился надъ Парижемъ. Шофферъ-пріятель примчалъ молодыхъ въ Сень-Жермень. Генераль долго, безмолвно сидѣлъ у себя въ комнаткѣ, смотрѣлъ въ окно, видѣлъ жаненовскіе каштаны, слегка тронутые уже коричневатымъ. Эйфелева башня мигала загадочнымъ глазомъ и не было въ небѣ Юпитера съ Марсомъ: сблизившись, разошлись они, какъ полагается. На стѣнѣ висѣлъ портретъ Машеньки въ черномъ крепѣ. Пустая бутылка литровая, откуда вынулъ генераль свои полтинники, медленно покрывалась пылью.

Въ разныхъ мѣстахъ происходило разное. Одно въ Парижѣ и другое въ С. Жермень, третье въ скиту на берегу рѣки. Рафа ложился спать. Мельхиседекъ собирался въ Парижъ, съ сердцемъ не особенно веселымъ: вышли «скорби» и Никифоръ отправлялъ его съ докладомъ къ архіепископу.

Генераль сталъ на вечернюю молитву. Трудящійся Парижъ засыпалъ. Надъ Парижемъ черная августовская ночь. Эйфелева башня давно мигать перестала. На облакахъ розоватое отраженіе огней. Поездъ Мельхиседека уходилъ очень рано, и до станціи мѣрлялъ онъ пѣшечкомъ одинокое шоссе — къ тому дальнему зареву, полному электрическихъ напряженій, волнъ радио, трепетаній свѣта, что и есть Парижъ.

Домъ въ Пасси, съ винтовой лѣстницей, дубовыми ступенями, небольшими квартирами, спаль. Все казалось въ немъ мирнымъ. И особенно тихо было въ од-

ной квартиркѣ, занимаемой барышней Капой, которую называла ея подруга «Пароходомъ Капитолиной». Такъ тихо, будто никого уже тамъ не было — между тѣмъ, Капа вернулась какъ всегда, и легла спать во время.

Изъ щелей-же квартирки, наружу разсѣиваясь въ холодномъ предразсвѣтномъ Парижѣ, а изъ двери выползая на лѣстницу, сочился противный запахъ; свѣтильнаго газа.

\*  
\* \*

Смерть всѣхъ влечеть. Всѣ поспѣшили заглянуть: и худенькій гарсонъ Робертъ съ гнилыми зубами, и прачка Мари, и газетчица, недавно выдавшая дочь, и приказчикъ изъ мясной. Мари ахала. По ея мнѣнію, mademoiselle Сара любила женившася Leon'a. «Oh, vous savez, il est très joli, ce garçon aux yeux gris! Oh, pauvre mademoiselle, oh, vous savez. . .» Мари вновь забѣжала въ café-tabac, хлопнула un cassis.

Мсье Жанень прибѣжалъ въ старомъ, засаленномъ жакетѣ, безъ воротничка, въ домашнихъ туфляхъ — онъ только что щупаль куръ и задавалъ кормъ кроликамъ. Тоже выразилъ сожалѣніе, но нашель, что покойная поступила неосновательно.

— Можно покончить съ собой, говорилъ онъ Роберу. — У меня былъ племянникъ, молодой человекъ какъ вы, онъ выпивалъ по шести литровъ въ день и подъ конецъ впалъ въ меланхолію. . .

Робертъ нѣсколько обидѣлся.

— Мсье Жаненъ, я не выпиваю и двухъ.

Но Жаненъ не обратилъ на него вниманія.

— Mais il était sage, mon neveu. . . Онъ выбросился на мостовую изъ окна пятого этажа.

И Жаненъ почти ласково разсказаль, какъ Этьеннь проломилъ себѣ високъ — это ничего не стоило роднымъ.

— Tandis que cette insensée. . . — подумать только всю ночь газъ былъ открытъ. . . Сколько это выйдетъ? А кто будетъ платить?

Робертъ ничего не могъ отвѣтить. Онъ замѣтилъ лишь, что русскіе вообще странные люди.

— Déséquilibrés, рѣшили оба, и направились въ бистро: одинъ чтобъ непрерывно наливать и кричать — un bock, un! или въ кассу, бросая монету: soixant cinq sur deux! — другой «освѣжиться» при помощи un sain et authentique Pernot.

Комиссаръ, плотный, хорошо выкормленный человекъ, напоминавшій церемоніймейстера на похоронахъ, управился довольно скоро. Самоубійство очевидное — преступленія нѣтъ. Смерть установилъ врачъ — хоронить можно. На вопросъ, есть-ли родственники и кто хоронить, сначала получилъ отъ консьержки неопредѣленный отвѣтъ, но спустившіеся въ ложу дама и военнаго вида старикъ, бѣдно, но аккуратно одѣтый, заявили, что похороны берутъ на себя русскіе, а старикъ — дальній родственникъ. Онъ просить разрѣшить доступъ въ квартирку, чтобы отслужить панихиду и читать псалтырь.

Комиссаръ не счелъ нужнымъ мѣшать этимъ русскимъ, показавшимся ему приличными.

Съ той минуты ключъ отъ квартиры и все распоряженіе останками сосѣдки перешло къ генералу и Дорѣ (ей и пришла мысль назначить генерала родственникомъ).

Комиссаръ уже уходилъ, когда новое лицо появилось у входа: маленькій старичекъ въ шляпѣ, съ сѣдою бородой, подъ которой на рясѣ золотѣлъ крестъ. «Un vrai père gusse», опредѣлилъ комиссаръ, и еще болѣе утвердился въ правильности принятаго рѣшенія. Они станутъ заниматься своими религіозными суевѣріями и читать разныя заклинанія, но въ республикѣ давно уже объявлена вѣротерпимость и ему совершенно безразлично, будутъ-ли безсмысленные, но не нарушающіе порядка rites совершаться на русскомъ, еврейскомъ или еще какомъ языкѣ. Комиссаръ откланялся и ушелъ. Мельхиседеку тутъ-же сообщили о Капѣ. Онъ снялъ шляпу и перекрестился.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой. . .

Дора очень взволнована, сдерживается. Генераль молчитъ. У него особенно каменный видъ. Ключъ перешелъ къ нему. И втроемъ, медленно они поднимаются.

Любопытные уже разошлись. Генераль несовсѣмъ твердой рукой вложилъ ключъ въ скважину. У двери стоялъ Рафа — блѣдный, черные его глаза безсвѣтны.

Въ квартиркѣ не совсѣмъ вывѣтрился еще запахъ. Онъ будто пропиталъ собою вещи, стѣны. Рафа прижался къ матери. Онъ никогда еще не видѣлъ мертвыхъ. Сердце билось, когда вошли въ комнату, которую отлично зналъ онъ, обычную, какъ у него.



Капа лежала на постели очень покойно, навзничь, съ закрытыми глазами. Нечеловѣческая тишина во-кругъ. Снаружи, черезъ садъ, могли доноситься какіе угодно звуки, хотя бы и грохотъ, стрѣльба, здѣшняго безмолвія нельзя было нарушить.

Генераль и Мельхиседекъ перекрестились. Дора съ Рафой стояли въ сторонкѣ. Всѣ молчали. Генералу представилось, что вотъ такъ-же лежала въ Москвѣ его Машенька.

Онъ стоялъ и не могъ оторваться отъ лица Капы, терявшаго уже жизненность, переходившаго въ міръ недоступный.

— Самоубійць прежде не отпѣвали, сказала Мельхиседекъ. — Грѣхъ это, дѣйствительно, тяжелый. Ну... теперь службы разрѣшаются.

Генераль опустился передъ кроватью на колѣни, припалъ головою къ одѣялу.

Рафа вспомнилъ, какъ она лежала тутъ больная на этой-же постели, а онъ сидѣлъ и рисовалъ у стола. Захотѣлось подойти, погладить ея руку. Но стало страшно.

— Мама, она совсѣмъ умерла?

— Совсѣмъ.

— И никогда не оживетъ?

— Никогда.

Дора хотѣла-было прибавить, что есть люди, какъ Мельхиседекъ и генераль, которые надѣются, что «оживетъ», но удержалась: понять это невозможно, къ чему забивать мальчику голову фантазіями?

Перейдя въ кухню, стали говорить о практическомъ: какъ хоронить. Мельхиседекъ предложилъ — чрезъ сестричество. Будетъ проще, дешевле. Онъ сейчасъ

ѣдетъ въ церковь, привезетъ облаченіе для панихиды, поговоритъ съ сестрами.

Дора взялась достать денегъ.

— А вы, Михаилъ Михайлычъ, сказала Мельхиседекъ, потрудились бы начать чтеніе псалтыри.

Генераль поклонился, какъ бы даже съ покорностью.

— Принесите Библию, я укажу, что именно.

Генераль вышелъ, и скоро вернулся съ книгой. Мельхиседекъ загнулъ углы нѣкоторыхъ страницъ. Поставили столикъ, на столикъ шкатулку, на шкатулку Ларусса — получилось вродѣ наоя. Консьержка и Дора должны обмыть тѣло, одѣть и приготовить къ гробу. Тогда генераль начнетъ чтеніе.

Когда Мельхиседекъ спускался внизъ, у входа встрѣтился онъ съ веселой француженкой, *mademoiselle Denise*, приказчицей сосѣдней съѣстной лавки. У ней въ рукахъ была бумажка. Вмѣстѣ съ Женевьевою собирала она среди жильцовъ, сосѣдей на похороны «бѣдной маленькой русской».

Рафа-же поднялся къ генералу. Что-то томило его. Онъ молчалъ, хмурился, старался имѣть такой видъ, что все знаетъ и понимаетъ, но ничего не могъ понять. Зналъ-же одно, что только съ матерью и генераломъ ему легче. Это свои, у нихъ можно укрыться въ привычную, милую жизнь среди ужаса и странности случившагося. И когда генераль сѣлъ у окна, Рафа приникъ къ нему, головою къ плечу. Генераль вздохнулъ. Рафа увидѣлъ въ углу бутылку, знакомую, темнозеленаго стекла. Она была покрыта пылью.

— А давно мы туда полтинничковъ не клали... — и вдругъ осѣкся, замолчалъ.

Генераль гладилъ его по головѣ старческими, сухими и прокуреными пальцами съ рыжими пятнами табака. Ласкалъ у виска, щеки. Рафа тяжело всхлипнулъ.

\*  
\* \*

Началась панихида. Въ траурной ризѣ съ серебряными цвѣтами Мельхиседекъ сталъ торжественнѣй. Блѣдный свѣтъ свѣчей, желтый и тонкій, былъ Рафѣ страшень. Пришла Зоя Андреевна, художникъ сверху, генераль, консьержка. Капа лежала убранная, съ двумя букетами красной гвоздики — лицо ея приняло восковую хладность, съ темносиними провалами у глазъ.

— Почему она открыла газъ? спросилъ Рафа у матери, сжавъ ея руку, когда панихида кончилась. — Она нездоровая? Почему всегда была такая... немножко вродѣ сумасшедшая?

— Да, да, нездоровая... — Дора не безъ волненія, но разсѣяннo обняла его.

Мельхиседекъ разоблачался. Она подошла и попросила къ ней зайти, если онъ свободенъ. Мельхиседекъ выпрастывалъ сѣдую голову изъ подъ разрѣза ризы, оправлялъ волосы. Взглядъ его былъ спокоенъ и серьезенъ.

Черезъ четверть часа онъ сидѣлъ въ столовой Доры. Рафу она услала прокатиться на тротинеткѣ — не все же сидѣть съ панихидами да смертями! Генераль остался читать псалтырь. Дора предложила Мельхиседеку чай съ печеньями.

— Сынь спросилъ меня сегодня, почему она покончила съ собой. Я сказала. . . первое попавшееся. Но меня самое не удовлетворяетъ. . .

Дора слегка волновалась, сдерживала полную свою грудь.

— Скажите, вѣдь она была православная?

Мельхиседекъ держалъ въ рукахъ блюдечко съ чаемъ и дулъ на него.

— Православная.

— Я спрашиваю потому, что у меня съ ней былъ одинъ довольно странный разговоръ — въ тотъ день, когда она по нечаянности съѣла несвѣжей рыбы. Говорили какъ разъ о самоубійствѣ. Капитолина Александровна двусмысленно выразилась — выходило, что она противъ самоубійства, т. е. на словахъ, но грѣхомъ какъ будто не считала, и къ жизни относилась презрительно.

Мельхиседекъ допилъ чай, поставилъ блюдечко и обтеръ бѣлые усы огромнымъ носовымъ платкомъ — извлекъ его изъ глубинъ ясы.

— Это весьма похоже на ея образъ мыслей.

— Но она. . . исполняла обряды, ходила въ церковь?

— Въ церкви бывала, и подъ благословеніе ко мнѣ подходила.

— Такъ что была христіанкой?

— Да. Но съ нѣкими уклонами. . .

Дора продолжала волноваться.

— Вы меня извините, мнѣ это вѣдь чуждо. . . Я врачъ. Занимаюсь тѣломъ. Понимаю все обыкновенное, земное, мистицизма во мнѣ нѣтъ. (Какъ разъ тогда-же покойная Капитолина Александровна упрек-

нула меня, въ сердцахъ, въ томъ, что во мнѣ сильно плотское чувство, что я *terge à terge* — и даже вспомнила о моемъ еврействѣ). Хорошо. Я и думаю: если я невѣрующая и для меня темень смыслъ жизни, то вотъ вы, исповѣдующіе непонятную мнѣ вѣру, должны быть счастливы, обладая ею. Вамъ главное открыто. Вы вѣрите въ безсмертіе души, въ вѣчную жизнь, во всеблагото Бога — несмотря на всю тяжесть и мракъ окружающаго. Вы вѣрите въ высшій міръ, гдѣ и происходитъ послѣдній судъ. И вдругъ. . . — что-же такое? Я, невѣрующая и еврейка, съ не особенно. . . легкой жизнью! — всетаки живу, работаю, сына воспитываю. А христіанка — пусть даже со странностями — открываетъ газъ. При этомъ знаетъ, что самоубійство грѣхъ, и отягчаетъ себѣ будущее. Мнѣ казалось, что религія даетъ спокойствіе и счастье. . . хоть на землѣ, по крайней мѣрѣ. Оказывается-же, среди васъ такіе-же несчастные, такіе-же самоубійцы. . .

— Совершенно вѣрно-сь.

— Но тогда — какой смыслъ? Какая польза отъ религіи, которая не спасаетъ даже вѣрующихъ отъ жизненныхъ трагедій?

Мельхиседекъ улыбнулся.

— Вы представляете себѣ дѣло такъ, что у насъ общество, этакихъ, знаете-ли, странныхъ людей, что-ли. . . признаемъ всѣ одну программу, параграфы устава. Для здравомыслящихъ параграфы эти — пустое, но для тронутыхъ ничего, они вѣрятъ, и не только вѣрятъ, а и вродѣ подписки даютъ: параграфы исполняютъ. А за это — радостное настроеніе на землѣ и надежда.

Разумѣется, это я такъ. . . для краткости и простоты. Но все-жъ таки — и вы слишкомъ просто берете. Вы думаете, существуютъ какія-то. . . — знаете, тутъ еще называются у васъ: патентованныя средства. Проглотилъ и развеселился. Попилъ двѣ недѣли вытяжки изъ железъ, и сталь бодрымъ, молодымъ. . . Нѣтъ, на самомъ дѣлѣ все гораздо сложнѣе. . .

— Ну, съ лѣкарствами я не сравниваю. Но должно же міросозерцаніе воспитывать, укрѣплять. Что-же оно — безцѣльно въ практической, т. е. моральной жизни? Васъ тогда спросить: для чего ваше христіанство, если христіане еще слабѣе, а можетъ быть, даже порочнѣе не христіанъ? Вонъ и Анатолій Ивановичъ христіанинъ, тоже въ церковь ходитъ, но ужъ я предпочту, чтобы мой Рафаиль былъ просто порядочнымъ и трудолюбивымъ человѣкомъ, хоть и безъ христіанства.

— Вполнѣ ваша воля-съ. Упреки мы должны принять, т. е. плохіе христіане, а таковыхъ насъ большинство. Ученіе-же Господа Иисуса тутъ непричемъ. Оно есть истина и путь, даже вѣрнѣе: самъ Господь Иисусъ — Путь. Вотъ Онъ пришелъ къ намъ, показалъ, явился. . . — а ужъ тамъ наше дѣло, какъ къ Нему прикоснуться. Одинъ больше Ему сердце открылъ, другой меньше. Истина-то и свѣтъ укрѣпляютъ, конечно, и возвышаютъ. Да только не насильно. А по нашей же доброй волѣ.

Дора встала, прошла, опять сѣла. Мельхиседекъ помолчалъ.

— Міръ, уважаемая Дора Львовна, созданъ таинственно. Никогда мы до дна его не исчерпаемъ. Нѣтъ такихъ простыхъ правилъ. лѣкарствъ, которыя-бы

могли передѣлывать людей, механически исцѣлять. Указанъ лишь путь — Христось. Но всегда были, и останутся страшныя дѣла, какъ вы скажете: трагедіи. Міръ ими наполненъ, и не-христіанскій, и христіанскій. У каждого своя судьба. Вотъ и Капитолина Александровна. . . Вы вѣрно изволили замѣтить — смерть ея есть противорѣчіе всему христіанскому духу. Радовать-ся тутъ нечему. Мы и скорбимъ. Въ ней было всегда нѣкое противленіе, или озлобленность, что-ли. Она своей трудной жизни не преодолѣла. Навѣрно, и мы, окружающіе, виноваты. Подойти не сумѣли. А потомъ неудачная любовь. . .

Дора покраснѣла. Мельхиседекъ глядѣлъ на нее спокойными, не удивляющимися и слегка грустными глазами.

— Ахъ, Капитолина Александровна. . . горько закончила. А и еще хуже бываетъ, и съ самыми нашими православными. Я знаю случай, когда дѣвушка исповѣдывалась и причастилась, потомъ наняла автомобиль и въ немъ застрѣлилась.

Пересиливъ себя, Дора сказала:

— Вы какъ будто сами признаете слабость христіанства. . .

— Нисколько-съ, значить, неясно выражаюсь. Слабъ человекъ, а не христіанство. Оно величайшая и единственная истина. А христіане разные бываютъ. И побѣждающіе, и побѣждаемые.

— Но все-таки, кто по вашему выше: христіане или не-христіане?

— Что-же васъ обижать. . . Да и трудно намъ говорить, что вотъ такіе мы замѣчательные. Можетъ быть,

такъ слѣдуетъ отвѣтить: намъ дальше видно, но снѣ-  
насть и спросится больше.

Дора задумалась и замолчала. Станный міръ, о-  
какой странный... и странные люди.

— Покойная Капитолина Александровна, сказала  
Мельхиседекъ: шла мучительнымъ, знаете-ли, тяж-  
кимъ путемъ. Все старалась закрывать себя отъ лю-  
дей, Бога. И возмущалась горечью своей жизни.  
Вотъ... — Намъ закрыта тайна ея судьбы. Она со-  
вершила большой грѣхъ. Но высшаго суда надъ нею  
мы не знаемъ. Остается лишь молиться за нее, т. е.  
поддерживать въ иномъ мірѣ, гдѣ находится сейчасъ  
ея душа. Всѣ вѣдь соединены. Всѣ какъ-бы вмѣстѣ.  
Слабость, грѣхъ, ошибки — общіе.

— Можетъ быть, вы и дѣйствительно счастливые.  
въ концѣ концовъ — неожиданно сказала Дора. — Не-  
смотря ни на что.

— Какіе-бы ни были, намъ уже потому легче, что  
мы знаемъ, куда глядѣть.

... Дора перевела разговоръ на практическое: что  
будутъ стоять похороны, каковы формальности.

Мельхиседекъ выпилъ еще чашку чаю, поднялся.

— Вы долго будете читать?

— Надо бы всю ночь. Обѣщала изъ церкви придти  
сестра. Будемъ чередоваться.

\* \*

\*

Утро. Солнце надъ Пасси. Пастухъ медленно прохо-  
дитъ съ козами по переулку. Онъ играетъ на дудоч-  
кѣ, везетъ небольшую телѣжку. Кто хочетъ, можетъ



остановить его: онъ тутъ-же подоить козу, нальетъ теплаго молока. Если угодно, продасть деревенскаго сыру.

Мельхиседекъ тихо, чтобы не будить генерала, отворяетъ ключемъ дверь квартирки. До пяти генераль читаль надъ Капой, а теперь семь — Мельхиседекъ кончилъ свои два часа, да сегодня и вообще все кончается: отпѣваніе — и далекое кладбище на окраинѣ Парижа.

Онъ умываетъ въ кухнѣ руки. Съ улицы слышна дудочка пастуха, и подѣ эту дудочку- да подѣ плескъ воды просыпается генераль. «А, это вы, о. Мельхиседекъ. . . Который часъ? Восьмой? Такъ. Встаю. Тамъ Дора Львовна кофе, сахару дала. . .

Мельхиседекъ, вытирая руки полотенцемъ, входитъ въ комнату.

— Все есть, Михаилъ Михайлычъ. Все Господь даль.

На улицѣ начинается жизнь — вѣчны хозяйки, консьержки, заботы о днѣ насущномъ. Часы отсчитываютъ время. Генераль одѣвается, вмѣстѣ пьютъ они кофе.

— А я вѣдь изъ скита въ Парижъ съ другою цѣлью ѣхаль, говоритъ Мельхиседекъ. — Не для того, чтобы читать псалтырь. Да вотъ такъ вышло.

— Съ какой-же цѣлью?

— Вы знаете, у насъ ушелъ Александръ Семенычъ. . . — кто математикъ-то дѣтей обучаль. Онъ и въ саду у насъ занимался. Да. Съ Флавіаномъ не ужился.

— Такъ. Ну, и что-жь?

— А то, что мы съ о. игуменомъ и разсудили: вы вѣдь съ высшимъ военнымъ образованіемъ, что вамъ эта наша математика. Дѣтская игра. Знать мы васъ знаемъ, работой вы здѣсь не связаны. Однимъ словомъ: предлагаемъ вамъ занять мѣсто Александра Семеныча.

Генераль молчитъ, жуеъ сухарь.

— Не только не связанъ, но если-бы не Дора Львовна и Олимпіада Николаевна, то просто померъ бы съ голоду.

— Ну, вотъ. . . Мѣсто для васъ подходящее. Но существуютъ и трудности-съ. . . Съ людьми нелегко, Михаилъ Михайлычъ, сами знаете. И съ мірскими, да и съ нашимъ братомъ, духовными. У о. Флавіана тяжелый характеръ. И съ дѣтьми надо умѣть себя поставить. Александръ-же Семенычъ былъ особо-нервный человекъ, и съ самолюбіемъ исключительнымъ. . .

Генераль усмѣхается.

— И у меня самолюбіе было немалое. . .

Мельхиседекъ подмигиваетъ — не безъ лукавства.

— Только-ли было-съ, Михаилъ Михайловичъ?

— Ну, ну, осталось, извольте. . . Все-жъ таки сивку и укатали горки.

— И слава Богу, Михаилъ Михайловичъ. Возрастъ не тотъ, времена другія. И слава Богу — съ помощію Его и управитесь у насъ.

Опять сидятъ, молчатъ, допиваютъ охладѣвшій кофе. Мельхиседекъ рассказываетъ о бесѣдѣ съ Дорой. Часы бьютъ восемь, половину девятого. Домъ пробуждается вполнѣ. Всѣ знаютъ, что нынче выносъ. Капа лежитъ уже въ гробу — разубрана цвѣтами.

Въ девять часовъ въ комнату ея, гдѣ послѣдній порядокъ наводятъ Дора съ консьержкой, входитъ высокій, худой человѣкъ съ голубыми глазами, въ хорошо глаженныхъ свѣрыхъ брюкахъ. Но мягкій воротничекъ рубашки смятъ, пиджакъ не въ порядкѣ, ботинки нечищены. Онъ небритъ. Даже будто и не умывался. У него вовсе больное, страшно исхудалое лицо.

Анатолій Иванычъ крестится, кланяется гробу.

## ПУТЕШЕСТВІЕ ОЛИМПІАДЫ

— Да, конечно... Аликъ, только не опаздывать. Въ половинѣ одиннадцатаго извольте быть у меня.

Въ телефонъ забурлило, затрещало. Олимпіада улыбалась. Голосъ ея приобрѣлъ тотъ пѣвуче-рокочущій отгѣнокъ, какъ всегда въ такихъ случаяхъ.

— Ну, я знаю васъ, знаю, вы нехорошій...

Вѣтерокъ налеталъ въ окно бѣлой спальни изъ за Трокадеро. Въ голубомъ, мягко-струистомъ воздухѣ тамъ плыла Эйфелева башня съ головой чуть не въ облакахъ. Дора только что кончила массажъ. Олимпіада сидѣла въ одной рубашкѣ и голубомъ халатѣ, въ туфляхъ на босу ногу. Улыбнувшись еще разъ, положила трубку.

— Этотъ Аликъ пресмѣшной мальчишка...

Потомъ обернулась могучимъ, розовѣющимъ тѣломъ къ Дорѣ.

— Вы думаете, это мой жиголо? Ахъ, ну просто мальчишка, говоритъ разныя нѣжности. Мы друзья, но... ни, ни! Мы беремъ его въ Довилль, прокатиться.

Я ъду въ машинѣ со Стаэле, а его впередъ, къ шофферу. Вы вотъ плохо надъ Стаэле работаете, она все толстѣетъ, и теперь влюбилась въ какого-то русскаго моряка. Милая, закройте окно, мнѣ холодно. Ахъ, да, она мнѣ рассказывала, что вы приводили къ ней сына, и вашъ Рафаиль совсѣмъ ею завладѣлъ. Тамъ какой-то у него пріятель въ общежитіи монашескомъ, и чтобы она ему bourse устроила. Да, да. И такой Рафаиль важный, рассказывала, какъ взрослый — ну что-жъ, два сапога пара. Такъ ее распропагандировалъ, что мы нынче и въ монастырь этотъ завѣзаемъ. По дорогѣ вѣдь. . . тамъ какіе-то русскіе.

Олимпиада сидѣла теперь передъ зеркаломъ. Разрисовывала и обласкивала свое лицо — слегка отяжелѣвшее, но со знаменитыми сѣрыми глазами — работала кисточками и пуховками, кремами и пудрой.

— Русскіе, русскіе... — только пусть не подумаютъ, сказала вдругъ строго: что я пожертвованія дѣлать буду. Нѣтъ, ужъ пусть Стаэле обрабатываютъ. У насъ сейчасъ такія дѣла. . . съ Польшей совсѣмъ кпарт, какъ нѣмцы говорятъ. Но наши соотечественники развѣ на это обращаютъ вниманіе? То-есть, что мнѣ трудно? Постоянно шатаются. Отбою нѣтъ. Я ужъ велѣла прислугѣ принимать только знакомыхъ, или у кого rendez-vous. Ну, а этотъ вашъ Анатолій. . . Богъ знаетъ что! У васъ, кажется, съ нимъ флёртикъ былъ? Сознавайтесь, мы кое что знаемъ. . .

Дора защелкнула свой саквояжикъ, подняла глаза, твердо сказала:

— Анатолій Ивановъ погибающій человекъ, Олимпиада Николаевна.

— Да, я васъ знаю, вы сидите въ этомъ русскомъ домѣ и у васъ тамъ всѣ какіе-то заморенные. . . И самоубійца эта. . . Но Анатолій! А? Только подумаешь! Ходилъ ко мнѣ, пилъ мой коньякъ, занималъ понемножку. . . Кораблики свои носилъ — я какой-то фрегатъ старичку-адмиралу чуть не за пятьсотъ франковъ подсунула. Потомъ Фрагонара мы съ нимъ вмѣстѣ устраивали. Перуанку-то я ему и нашла, мы ее сколько обрабатывали, наконецъ, она этого Фрагонара купила. На нашу долю четыре тысячи комиссіи. . . Но гдѣ онѣ, я васъ спрашиваю? Куда ихъ Анатолій забельшилъ? Самъ не идетъ. Пишу — не отвѣчаетъ. А потомъ оказывается — его видѣли на Монпарнасѣ: совершенно пьяный, съ дѣвченками. Вотъ гдѣ мои дежки гуляютъ!

— Онъ сейчасъ боленъ, сказала Дора.

Олимпиада окончила всѣ ласки лица, оглядѣлась, поправила рѣсницы, встала.

— Будешь, милая, отъ такой жизни боленъ. А придетъ къ вамъ, вы и таять готовы. Ахъ, ну впрочемъ, мы всѣ бабы дуры.

Она потянулась, вытянула крѣпкія свои руки. Улыбка вновь прошла по лицу — точно она что-то вспомнила: не безъ пріятности.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ, сказала опять серьезно. — Деньги не большія, но если онъ къ вамъ заявится, то внушите ему. . . — у меня коньяку больше нѣтъ, и никогда не будетъ. Денегъ тоже нѣтъ. . . — достаточно, что я этому вашему старичку, генералу столько передавала. . . — вы думаете, другая бы на моемъ мѣстѣ это сдѣлала?

Олимпиада вообще считала, что мало въ жизни ошибается. У ней были нехитрыя, но твердыя правила. По рѣшительному своему характеру рѣдко отъ нихъ отступала (развѣ что по «женской слабости», какъ она говорила — именно тогда и начинала загадочно улыбаться и говорить пѣвучимъ рокотомъ. . .). Если-же доходило до того, сдѣлала-ли бы что-нибудь «другая» на ея мѣстѣ, это значило, что Олимпиада считаетъ свою позицію неприступной. Она дѣйствительно раза три помогла генералу, и это подняло ее въ собственныхъ глазахъ. («Онъ мнѣ совершенно не нуженъ. . . Такъ, старичекъ. Развѣ *другая-бы* это сдѣлала?»).

Когда Дора ушла, она принялась укладывать несесеръ краснаго сафьяна, подарокъ мужа. Большой сундукъ, съ металлическими бляхами по угламъ, уже наполненъ всякимъ добромъ — его оставалось лишь закрыть. Въ несесерѣ блестяли флаконы, пудреницы, щетки, все ловко прилаженное и дорогое — Олимпиада любила вещи. Въ комнатѣ былъ еще беспорядокъ, но пахло духами, на спинкѣ кровати висѣли шелковые чулки, лѣтняя свѣтлая кофточка задышалась подъ шалью наверху сундука, и все отзывало увѣренной, нѣсколько беспорядочной роскошью.

Аликъ не опоздалъ. Этотъ худенькій Аликъ, въ очкахъ, съ бойкими карими глазами, туго зализанными назадъ волосами, учился въ колоніальной школѣ, бойко говорилъ по французски и занимался хожденіемъ по разнымъ дамамъ. Со временемъ рассчитывалъ получить мѣсто въ Индокитаѣ или Западной Африкѣ, а пока цѣловалъ ручки, являлся на завтраки. Охотно отправлялся сейчасъ въ Довиль.

Онъ не опоздалъ («пропустить такой случай!»). Олимпиада встрѣтила его привѣтливо-играючи, притворно пыталась журить, но въ сущности не за что было. Заставила запереть крышку сундука. Завязать послѣднюю картонку. Потомъ засадила разсматривать альбомъ фотографій («это я въ гимназiи. Тутъ кормлю ребенка. Здѣсь мы путешествуемъ въ Крыму»).

Альбомъ былъ хорошій признакъ для Алика. Голось Олимпиады рокоталь не безъ бархата. Аликъ прилежно разсматриваль, какова она была въ гимназiи. Олимпиада укладывала послѣднiя мелочи.

Въ одиннадцатъ коричневая машина съ сѣро-серебристыми дисками колесъ остановилась у подъѣзда. Подъемникъ весь наполнила собою Стаэле. Плавно, какъ въ хорошихъ домахъ, вознесъ онъ ее къ Олимпiадѣ.

\*

\* \*

«Многоуважаемая Дора Львовна, пишу вамъ изъ скита св. Андрея, гдѣ нахожусь уже болѣе мѣсяца. Преподаю дѣтямъ математику, да занимаюсь немного въ огородѣ. Работы не такъ много. Чувствую себя довольно хорошо. Но, конечно, есть и трудности.

«Передайте пожалуйста Рафаилу, что часто его вспоминаю. Пусть бы собрался и мнѣ написалъ. Это-бъ ему было и упражненiе по русски. Только прошу безъ ошибокъ и французскихъ словечекъ! Отдаете-ли его въ Лицей? Пора. Больше ему шататься гакъ зря нечего. Вы, повидимому, переѣзжаете изъ того дома? Тоже



пора. А мнѣ все кажется, что нѣкая полоса моей жизни кончилась: началась другая. Что это будетъ? Еще не знаю. Но ужъ такъ вышло, значитъ вышло. . .»

Генераль сидитъ у себя въ комнатѣ нижняго этажа. Небольшой деревянный столъ съ чернильницей и бумагой у самаго окна. Выходитъ оно на внѣшній дворъ — передъ глазами порталъ бѣлаго Собора, съ полу-круглою папертью, слегка поросшей травкою, съ могучей дверью въ рѣзбѣ и розеткою высоко надъ ней. Соборъ отсюда и величественъ, и горестенъ — въ вѣковомъ запустѣннѣи.

Михаиль Михайлычъ дописалъ послѣднее слово, поднялъ отъ бумаги голову — вдругъ увидалъ огромную, бѣлую въ пыли машину, тихимъ звѣремъ выкатившуюся справа, изъ подъ готическихъ воротъ. Въ недоумѣннѣи сдѣлала она нѣсколько шаговъ, подъ окномъ генерала остановилась.

Олимпиада замахала платочкомъ. Генераль вышелъ встрѣтить.

Она лѣниво высвобождала ноги изъ машины.

— Ну вотъ, вотъ, видите — васъ не забываютъ!

Генераль подошелъ къ ручкѣ. Олимпиада, улыбаясь королевскою улыбкой, слегка прищуривъ сѣрые глаза, высоко, привычнымъ жестомъ поднесла руку къ его губамъ. Аликъ суетился у дверцы, помогая вылѣзть Стаэле (задача не изъ легкихъ: она выставила слоновобразную ногу, платье слишкомъ высоко поднялось, она смутилась, залилась краской и поправляя юбку чуть не выломала дверцу машины).

— Видите, какую вамъ осетрину привезли? Это по

благотворительной части. А мы, остальные, не по благотворительной. Въ Довилль пробираемся. Ну, подавайте намъ теперь свое начальство. Или ужъ и вы сами теперь вродѣ игумена по штатскимъ дѣламъ? Мнѣ Дора что-то говорила, вы тутъ ребятъ обучаете математикѣ?

— Совершенно правильно. Но дѣла управленія никакъ ко мнѣ не относятся.

Стаэле, наконецъ, вылѣзла. Онъ повелъ ихъ черезъ калитку въ садикъ передъ аббатствомъ. У дальней стѣны, гдѣ Дѣва Марія держала въ рукахъ гипсового младенца, а кругомъ росъ плющъ и дикій виноградъ, они усѣлись на скамеечку. Въ клумбахъ цвѣли астры и настурціи. Малыши, игравшіе въ пескѣ, съ недоумѣніемъ — смѣсь ужаса съ восторгомъ — взирали на пріѣзжихъ. Древнія стекла аббатства отливали кое гдѣ радужнымъ.

— Я хотѣла-бы видѣть. . . этого мальчика, пробормотала Стаэле, заранѣе смущаясь и краснѣя. — Который бѣжалъ изъ Россіи и не имѣетъ средствъ учиться. Я хотѣла-бы также поговорить съ. . . *supérieur*. . .

Послѣднее было не такъ легко сдѣлать. Всѣ эти дни Никифоръ былъ нездоровъ, почти не выходилъ, и никого не принималъ. Котлеткинъ на урокахъ, Флавіанъ въ бѣлье. Генераль отправился его разыскивать.

Флавіанъ, оторвавшись отъ своихъ простынь, взглянулъ на него не совсѣмъ дружелюбно.

— А-а, благодѣтельница. . . Какъ-же, какъ-же. Должны принять, благодарить. Не знаю ужъ, какъ тамъ о. игумень.

И съ недовольнымъ видомъ направился къ Никифору.

Черезъ десять минутъ генераль провель Стаэле длиннымъ коридоромъ мимо трапезной, гдѣ недавно обѣдали и на грязноватой клеенкѣ стола валялись еще кое-гдѣ крошки. Постучаль въ дверь комнаты Никифора. Слабый голосъ отвѣтилъ оттуда:

— Аминь.

Въ комнатѣ было свѣтло, огромныя окна выходили въ садъ, гдѣ вдали, по каштановой аллеѣ, медленно шла Олимпиада съ Аlikомъ. По стѣнамъ фотографіи монаховъ, въ углу кіотъ съ нѣжно-мерцающими лампадками — разноцвѣтными: синими, красными. Письменный столъ, диванчикъ, клубукъ на узенькой постели подъ сѣрымъ, почти больничнымъ одѣяломъ. Шкафикъ съ книгами. Тихо. Нѣсколько душный, сладковатый воздухъ — букетъ увядающихъ цвѣтовъ на столѣ.

Передъ приходомъ Стаэле Никифоръ лежалъ на диванчикѣ — у него былъ жаръ, небольшой, но недѣлями не прекращавшійся, какъ и недѣлями покашливаль онъ и отхаркивался.

Услыхавъ стукъ, всталъ. Стоя встрѣтилъ Стаэле у стола. Низко ей поклонился, указаль на диванчикъ.

— Вы ужъ будьте переводчикомъ, сдѣлайте милость, обратился къ генералу. — Я французскимъ языкомъ недостаточно владѣю.

Никифоровъ диванчикъ крякнулъ подъ Стаэле — горестно и непривычно. Она покраснѣла, но съ любо-

пытствомъ уставилась бѣлыми глазами на тощаго монаха съ серебряными зубами и чахоточнымъ цвѣтомъ лица. Его застѣнчивые глаза понравились ей. О, это не то, что глаза лейтенанта Браудо, это совсѣмъ другое и особенное, они не могутъ волновать, но это тоже Россія — совсѣмъ особенная, тайная. Всѣ эти иконы на стѣнахъ, жезлъ въ углу, на худыхъ рукахъ четки. . . — (даже свѣтъ изъ оконъ, огромныхъ, старинныхъ, показался Стаэле спиритуальнымъ).

Никифоръ началъ съ благодарности иностранкѣ, не побрезгавшей посѣтить скромную обитель. Здѣсь воспитываются и дѣти. Разумѣется, въ нелегкихъ условіяхъ.

Генераль переводилъ. Стаэле улыбалась и кивала. Она отвѣтила, что искренно сочувствуетъ русскимъ, и чѣмъ можетъ, готова поддержать. Разговоръ завязался. Съ внѣшности онъ походилъ, можетъ быть, на бесѣду царя Θεодора съ иностраннымъ посломъ — чудодѣйственно перенесенную во французское аббатство автомобильнаго вѣка.

Котлеткина Флавіанъ привелъ во время. Котлеткинъ былъ въ аккуратной синей курточкѣ, причесанъ и нѣсколько взволнованъ (чувствовалъ себя вродѣ жениха на смотринахъ). Чинно подошелъ къ Никифору подѣ благословеніе, поклонился Стаэле и сталъ въ сторонкѣ. Передъ нимъ былъ Никифоръ, иностранка, генераль. Это не опасно. Сзади-же, въ три четверти направо, Флавіанъ ощущался нерадостно, несовсѣмъ благосклонной державой. Оттуда можно было ждать непріятностей.

Стаэле спросила Никифора «какъ учится мальчикъ», какъ себя ведетъ. Потомъ стала спрашивать его самого — о прежней жизни. Котлеткинъ отвѣчалъ довольно бойко, на французскомъ языкѣ, съ которымъ мало стѣснялся (чувствуя свою великорусскую мощь).

Вздернутый его носъ и умные глазенки бодро на нее глядѣли. Благотворительницу въ душѣ онъ такъ опредѣлилъ: «сильно нажратая буржуйка, но видимо, соглашательница. Котлеткинъ, дѣйствуй». И рассказывая — уже въ который разъ — о бѣгствѣ съ отцомъ черезъ Днѣстръ, привралъ еще немного къ предпоследнему рассказу.

На разныхъ разное онъ произвелъ впечатлѣніе. «Ловчила», подумалъ генераль — но безъ неодобренія. «Мы были одно, они другое. Новое время, новыя пѣсни».

Флавіанъ опредѣлилъ кратко: «шельма». И въ самомъ томъ, что мальчишку изъ совѣтской Россіи взяли въ общежитіе, усмотрѣвъ новое доказательство бездарности Никифора. «Можетъ, ничего и не бѣжалъ, а просто подослали къ намъ шпіонить. . . Ну, а развѣ эта размазня съ серебряными зубами что-нибудь въ жизни смыслить?»

Стаэле-же сочла Котлеткина, наоборотъ, представителемъ «новой Россіи, страны великаго соціального опыта». Его рыжеватые волосы, веснушки, бойкость, свѣжесть, самый *français-nègre* произвели впечатлѣніе. Иное, чѣмъ Никифоръ. Не такое, какъ и Браудо. Но достаточное для стипендіи.

Послѣ аудіенціи ее повели осматривать помѣщеніе

пріюта: дѣло для нея — изъ за трудности ходьбы — невеселое, но необходимое.

\* \*  
\*

Олимпіада и Аликъ сидѣли подѣ каштаномъ на той самой скамейкѣ у столика, гдѣ Мельхиседекъ поправлялъ иногда ученическія тетрадки. По временамъ Аликъ, держа олимпіадину руку, наклонялся къ ней, такъ что свисали крѣпкія пряди волосъ, и цѣловалъ ладонь, а потомъ пальцы, одинъ за другимъ.

— Фу, какой невоспитанный мальчишка, говорила Олимпіада, не отнимая руки.

— Вы кто? Вы просто мальчикъ, должны учить уроки, ходить въ школу, за вами надо смотрѣть, чтобы вы чистили зубы и разъ въ недѣлю мыли голову. . . — а онъ туда-же, взрослымъ дамамъ ручки цѣловать. . . Смотрите, монахи увидятъ, они васъ и запрутъ въ карцеръ. Когда мы подѣзжали, я видѣла около Собора строеньице, вродѣ погреба, и надпись: «*Locaux disciplinaires*». Вамъ тамъ и быть.

Аликъ поправилъ пряди волосъ, посмотрѣлъ на нее сквозь очки смѣлымъ и живымъ взглядомъ.

— Никуда меня не запрутъ. Я монаховъ вашихъ не боюсь. Всѣ эти монастыри, монахи. . . Я за одну вашу ручку. . .

— Т-ссъ, т-с-с. . . нехорошій!

Олимпіада заткнула ему ротъ этой-же самой ручкой.

Онъ вновь ее поцѣловалъ. Олимпіада поднялась.

— Ну, ну, ну, мы пошли. Сдерживайте въ себѣ звѣря. Я хочу чистой дружбы.

И ея голосъ такъ ласково рокоталъ, что звѣрю оставалось только радоваться.

Когда они вошли въ аббатство, осмотръ уже окончился. Стаэле было жарко, она обмахивала раскраснѣвшееся лицо платочкомъ.

— Ду-душ... ный день, пролепетала какъ бы извиняясь и смотрѣла на Олимпіаду покорными, бѣлыми глазами. — Но оч-очень интере-е-сный...

— Ну что-жь, разъ мы заѣхали сюда, обратилась Олимпіада къ генералу. — То ужъ надо посмотрѣть Соборъ. *Madame Staële, allons visiter la cathédrale. Vite, vite.*

Стаэле очень хотѣлось посидѣть въ прохладѣ трапезной, выпить лимонаду да опять въ машину, дремать до Довилля. Но Олимпіадѣ она какъ-то не смѣла сопротивляться. Влюблена въ нее не была, но сила, красота дѣйствовали. Стаэле покорно согласилась.

Послали за привратницей. Флавіанъ предложилъ было свои услуги. Но Олимпіада холодно на него взглянула.

— Благодарю васъ, батюшка. Намъ и Михайлъ Михайлычъ объяснить. А у васъ и безъ того, навѣрно, много дѣла.

«Станетъ еще приставать съ разными пожертвованіями...»

Здоровенная нормандка, въ сабо и черномъ платьѣ, отворила дверь Собора. Ржавый ключъ въ рукѣ ея былъ послушенъ.

Ледянымъ погребомъ дохнуло изъ узкаго, длиннаго нефа. Узкія колонки, будто выточенные изъ бѣлаго, пористаго камня, бѣжали вверхъ струйками, на потолокъ переплетались дугами, какъ вѣтви нѣкаго таин-

ственного древа. Плиты пола неровны, вытерты. По стѣнамъ сбоку пятна вѣковой сырости, расплзшіяся сложными узорами. Кой гдѣ серебряныя капли въ нихъ блестятъ.

— Нашъ Соборъ очень извѣстенъ, говорилъ генераль. — Его пріѣзжаютъ смотрѣть экскурсіи и любители издалека.

Привратница вела ихъ боковымъ нефомъ. Около абсиды зеленоватый свѣтъ легъ на полъ причудливымъ снопомъ сквозь витражъ.

— Капелла св. Дѣвы, барельефы одиннадцатаго вѣка, оригиналы ихъ въ музеѣ Ключни, а это копіи, говорила привычно-благоговѣйнымъ тономъ привратница — постукивала какъ подковами своими деревянными сабо. Стаэле восхищалась. Ей все хотѣлось узнать, есть-ли здѣсь вліяніе шартрскихъ мастеровъ. (Аликъ меньше всего думаль о мастерахъ. . .).

Олимпиада много путешествовала — особенно во второй половинѣ жизни. Достаточно видѣла и Соборовъ, и древностей, вкуса-же къ нимъ не утратила: осмотры входили въ ея бытъ туристическій, — какъ автомобили и казино. Но сейчасъ, въ этомъ мертвенно-бѣломъ, влажно-морозномъ Соборѣ ей стало не по себѣ. Нормандка показывала мѣста погребенія настоятелей и монаховъ. Какой-то епископъ съ посохомъ оказался у Олимпиады подъ ногой — лежитъ онъ подъ зашарканной плитою пола, чуть сохранившей очеркъ его митры. . .

— Вы что-же, сами тоже въ монахи собираетесь? спросила она вдругъ генерала.

— Я лишь учитель-съ, какой я монахъ.



— И хорошо дѣлаете. Но всетаки у васъ такой видъ... — она внимательнѣе на него поглядѣла: неплохой, но вы какъ-то подсохли, отошли... Ну, пусть она насъ ведетъ теперь къ выходу. Пора. Да и осетрина устала. Она къ ходьбѣ не очень приучена. Нѣтъ, я конечно все это уважаю, но сейчасъ не хочу. Будетъ. Намъ еще длинный путь.

... Флавіанъ дергалъ въ коридорѣ веревочки небольшихъ колоколовъ. Никифоръ, надѣвъ клобукъ, опираясь на игуменскій жезлъ, шель по коридору, въ тепломъ свѣтѣ солнца. Въ открытыя окна видѣлъ онъ небо, ласточекъ — свѣтлыя рѣянья ихъ въ вечернемъ золотѣ. Онъ шель медленно, покашливая. И не доходя до церкви, услыхалъ трубный ревъ, гордый ревъ машины. Какъ бѣлый, сильный звѣръ пролетѣла она внизу по улицѣ. Пыль за ней встала облакомъ, вблизи расплывшимся, вдаль все густѣвшимъ и передвигавшимся въ направленіи большой дороги на Довилль.

\* \*

\*

«Доканчиваю письмо, его прервалъ пріѣздъ гостей. Посѣтили насъ Олимпіада Николаевна, г-жа Стаэле и какой-то молодой человекъ. Это, конечно, нѣкоторое событіе. Г-жа Стаэле хотѣла посмотрѣть обитель и Котлеткина, будущаго своего стипендіата. Все сошло хорошо. Стипендію онъ получаетъ. Они осмотрѣли загѣмъ Соборъ и уѣхали.

«Наша-же жизнь продолжается обычнымъ, будничнымъ порядкомъ. Считается, что монастырь — тишина, созерцаніе. Разумѣется, въ немъ это есть (и осо-

бенно церковныя службы вносятъ красоту, возвышенность). Но всетаки люди — люди. И монахи въ томъ числѣ. Жизнь сообща не такъ легка. Интриги, самолюбія. . .

«Къ сожалѣнію, здѣсь нѣтъ сейчасъ о. Мельхиседека, съ нимъ мнѣ легче всѣхъ. Съ остальными далеко. Никифоръ очень почтенный, возможно, даже и замѣчательный монахъ. Но онъ игумень, недосягаемое лицо. Да и весьма болѣзненъ. Считаю, что ему недолго жить. Авраамій веселый и привѣтливый. . . Ну что-же, онъ совсѣмъ мужикъ. Напоминаетъ Вавилу, моего деньщика. Очень хорошій былъ ефрейторъ, чуть не всю войну вмѣстѣ продѣлали, но всетаки отъ него пахло цыгаркой и потомъ. Нѣтъ, я никогда не былъ демократомъ, извините меня, Дора Львовна.

«Казначей Флавіанъ и вовсе неприятный человѣкъ. Этотъ ужъ не демократъ, но преехиднѣйшій. Подробно писать не хочется, но вотъ примѣръ: Олимпиада Николаевна не захотѣла идти съ нимъ въ Соборъ, предпочла меня. Нынче онъ уже дуется. Я чувствую, и меня это тоже раздражаетъ. Весьма возможно, завтра будетъ придирааться на моемъ урокъ. Разумѣется, я ему не спущу.

«Предъ вечеромъ стало какъ-то грустно. Я пошелъ прогуляться, забрелъ въ еловую рощицу, недалеко отъ рѣки. Солнце стояло уже низко, но все было необыкновенно прозрачно и полно его свѣтомъ. Въ рошѣ-же глухая, черная тѣнь. Голая, коричневая хвоя у корней. Ни листика, ни травинки. Только косые лучи кое гдѣ пронзали. А въ чашѣ сороки стрекотали. Я сѣлъ на пенекъ. И долго сидѣлъ, знаете, до захода солнца. Да, вотъ онъ гдѣ очутился, на старости лѣтъ, бывшій ко-

мандиръ корпуса, Михаилъ Михайловичъ Вишневскій. . .

«Господь говоритъ, что надо смиряться. Значить, вѣрно. . .

«Напишите мнѣ когда нибудь. Изъ Россіи писемъ я теперь не получаю. И не получу. Не отъ кого. Все кончилось. Вы добрая, пожелайте мнѣ мира. — Привѣтъ Вамъ и Рафаилу.

## ВНОВЬ ОСЕНЬ

... Дора шла вдоль фасада. За рѣшеткой зданіе Лицея, съ огромными окнами, бюстами писателей въ нишахъ. Мальчики съ мамами и безъ мамашъ, въ школьныхъ беретикахъ, съ книжками, иногда въ очкахъ, иногда въ спортивныхъ широкихъ панталонахъ надъ сѣрыми чулками, вливались съ улицы. Дора только что тоже влила одного такого.

Рафаиль Лузинъ вступилъ на новый путь — ученика восьмого класса литеры В. Мальчикъ литеры В. будетъ возвращаться домой ужъ не въ тотъ переулокъ, гдѣ возрасталъ — и теперь безъ всякихъ генераловъ и Мельхиседековъ: послѣ долгихъ изысканій, въ которыя вложила душу, Дора нашла подходящую квартиру со всѣми удобствами. И несмотря на возню съ мебелью, арматурой, монтерами, переѣздомъ, несмотря на усталость, она внутренно поборѣла и посвѣжѣла. Мечтанія осуществлялись. Теперь устраивается она какъ порядочная женщина, не то что въ русскомъ домѣ, гдѣ все на виду. Теперь выдажъ и горя-

чая вода безъ счетчика! Мадамъ Левенфишъ явно за-  
видуеть.

Каштаны на Avenue Henri Martin стояли коричне-  
вые. Бульваръ этотъ, темнозеленый, почти сумрачный  
отъ густоты тѣни лѣтомъ, теперь освѣтлѣлъ. Въ  
блѣдно-голубомъ небѣ октябрьскомъ плыли надъ нимъ  
и Парижемъ облачка — съ разсвѣннымъ выражені-  
емъ. . .

Дора пересѣкла его и пошла по rue de la Pompe. До-  
ра хорошо вымыта, полновата, грудь впередъ, пахнетъ  
свѣжестью и чистотой — главное, все въ порядкѣ и  
никакихъ разглагольствованій. Въ окнѣ русскаго мага-  
зина увидала икру, вспомнила объ устрицахъ, кото-  
рыхъ давно не ѣла. «Непремѣнно надо зайти какъ ни-  
будь къ Прюнье».

Не доходя до Murette, свернула въ переулокъ налево.

Давно не приходилось ей бывать тутъ. И почти сра-  
зу, какъ вступила на привычную землю, ощутила нѣ-  
что новое. Правда, café-tabac, гдѣ худенькій гнилозу-  
бый Роберъ наливалъ (безъ конца-начала) un bock,  
un! — было все то-же. И лицо прачки Мари, въ окнѣ  
нижняго этажа, такъ-же багровѣло съ утра. Не узнала  
лишь мѣста, гдѣ сама жила. Ни каштановъ Жанена,  
ни самого его домика нѣтъ: точно приснились лишь  
они.

Въ огромной ямѣ, похожей на язву, наспѣхъ били  
сваи, возились каменщики. Въ дальнемъ углу гремѣ-  
ла землечерпалка: желѣзными челюстями вгрызалась  
въ землю, отрывала ее, поворачивалась на кранѣ и  
разжавъ челюсти, высыпала зарядъ въ каміонъ.

Не было крыши и надъ домомъ русскихъ. Часть  
улицы отдѣлялась канатомъ. Какъ разъ въ ея преж-

ней квартиркъ, развороченной, уже безъ потолка, стояли на стѣнѣ два каменьщика въ синихъ блузахъ. Кирками сбивали кирпичъ за кирпичикомъ — въ бѣлой пыли штукатурки летѣли тѣ внизъ, въ огороженное мѣсто. Сухимъ туманомъ тянуло по всему переулку.

Мари высунулась изъ окна, узнала Дору, взволновалась, задышала и какъ родной стала объяснять, что на мѣстѣ прежняго строятъ теперь новый домъ — многоэтажный, все изъ бетона и желѣза. «Какъ въ Америкѣ, мадамъ, совсѣмъ какъ въ Америкѣ!»

Тутъ-же сообщила, что строить молодой французскій инженеръ, qui a epousé l'amie de cette pauvre Сара... oh, pauvre petite... — и Мари совсѣмъ почувствовалась, вспомнивъ о Капѣ, которую считала жертвой Leon'a.

Дора поблагодарила, пошла далѣе по переулку. Нѣкоторая задумчивость на нее нашла. И съ удивленіемъ услышала она звуки знакомой дудочки. Овернскій пастухъ вель своихъ козъ. Дойдя до стройки, козы остановились. Въ это время кранъ съ грохотомъ сталъ поворачивать землечерпалку — козы метнулись назадъ.

«Да, все это прошло. Генераль правъ».

И хотя двигалась куда нужно, внутренно Дора погрузилась въ иное. «И порочный, и слабый, а всетаки я его любила... За что? Ну, неизвѣстно. Не въ томъ дѣло. Во всякомъ случаѣ, ничего нѣтъ».

На улицѣ Cortambert она вошла въ подъѣздъ великолѣпнаго дома со свѣтлымъ холломъ. Подъемникъ мягко возносилъ ее. Въ головѣ бродили еще, какъ облачка, обрывки недоизжитого.

Фанни висѣла на телефонѣ.

— Софья Соломоновна? Да, я. Ну, какъ вчера? А Іезекіиль Лазаревичъ? Выигралъ? Ну, такъ ему всегда везетъ. Въ пятницу? Я, кажется, занята. Если не ошибаюсь, бриджъ у Темкиныхъ. Да, сейчасъ. Но я тороплюсь. Ко мнѣ пришли дѣлать массажъ. Всего лучшаго.

И запахнувъ халатикъ, Фанни привѣтствовала Дору.

— Ну вотъ, вотъ, и живенько. Дорочка, ну какъ вы тамъ? Довольны квартирой? Съ выдажемъ?

Черезъ минуту она предоставила свое тѣло привычнымъ рукамъ Доры. Но языка унять не могла.

— А какъ вашъ знаменитый Рафаиль? Чудесный мальчикъ. Противъ него нельзя устоять. Онъ зимою обобралъ въ Ниццѣ всѣхъ знакомыхъ дамочекъ и меня самое на какой-то тамъ пры-ютъ монастырскій. . . Я васъ даже бранила тогда, что вы его въ семинарію готовите, онъ еще всѣхъ архіереевъ зналъ. . .

Дора объяснила, что Рафаиль уже въ Лицеѣ, и до семинаріи далеко.

— И вообще все теперь по другому. Отъ того русскаго дома, гдѣ мы жили, ничего не осталось. Я сейчасъ проходила и видѣла. Его разрушаютъ и строятъ новый.

— Помню, помню. . . еще къ вамъ ходилъ такой старичекъ монахъ, съ сѣдою бородой. Вродѣ Knecht-Ruprecht'a. Ахъ, Рафочка, значить, въ Лицеѣ. . . Хорошо, но и хлопотно. Начнется теперь эта зубровка. . .

«Генераль-бы поправиль», думала Дора, массируя ея спину. Но ничего не сказала. Изъ за полнѣющей спины Фанни, все въ тѣхъ-же видѣніяхъ куда погрузилась идя сюда, съ ясностью вдругъ увидала она бѣлую бороду Мельхиседека. Нѣчто тихое и сребристое,

почти съ физической убѣдительностію прошло по ней. Представилось, что въ метро, во второмъ классѣ онъ сидитъ сейчасъ, и подземный поѣздъ его мчитъ. Мельтешедскъ неподвиженъ, недвижно смотритъ на бѣлый свѣтъ электрической лампочки. Можетъ быть, молится? «Странные люди, очень странные...»

— Дорочка, сказала Фанни, когда сеансъ кончился. — Я чувствую, что вы сегодня задумчивы. Что такое? Плохо съ деньгами? Если нужно, я могу дать впередъ.

Дора поблагодарила и отказалась.

9 дек. 1931 — 9 дек. 1933.

עיריית חיפה  
מערכת תרבות חסנאי  
מרכז תרבות לעולים  
בית ארדשטיין - ספריה  
מס. מלאי.....

72798/1

עיריית חיפה / מינהל החתר  
אוף לתרבות השכנו: אמנוה יחס לתרבות  
הספריה הצבורית ע"ש ש. צבונד

מס' 72798/1



## ОГЛАВЛЕНИЕ:

	Стр.
У постели . . . . .	5
Друзья . . . . .	16
Движеніе . . . . .	26
«Возвращается вѣтеръ» . . . . .	39
Келья . . . . .	55
Вверхъ и внизъ . . . . .	67
Праздникъ . . . . .	78
Дѣла . . . . .	93
Поведеніе Доры . . . . .	110
Пароходъ «Капитолина» . . . . .	125
Удачи . . . . .	140
Мельхиседекъ . . . . .	154
Скитъ . . . . .	172

<b>Колебание дома</b>	. . . . .	<b>196</b>
<b>Ночь</b>	. . . . .	<b>208</b>
<b>Путешествие Олимпиады</b>	. . . . .	<b>228</b>
<b>Вновь осень</b>	. . . . .	<b>244</b>

Складъ изданія:  
PETROPOLIS-VERLAG A. G.  
BERLIN W 15

MEINERSTRASSE 19

Дел Франца в Бельгии:  
MAISON DU LIVRE ETRANGER  
PARIS VI  
8, RUE DE L'EPERON